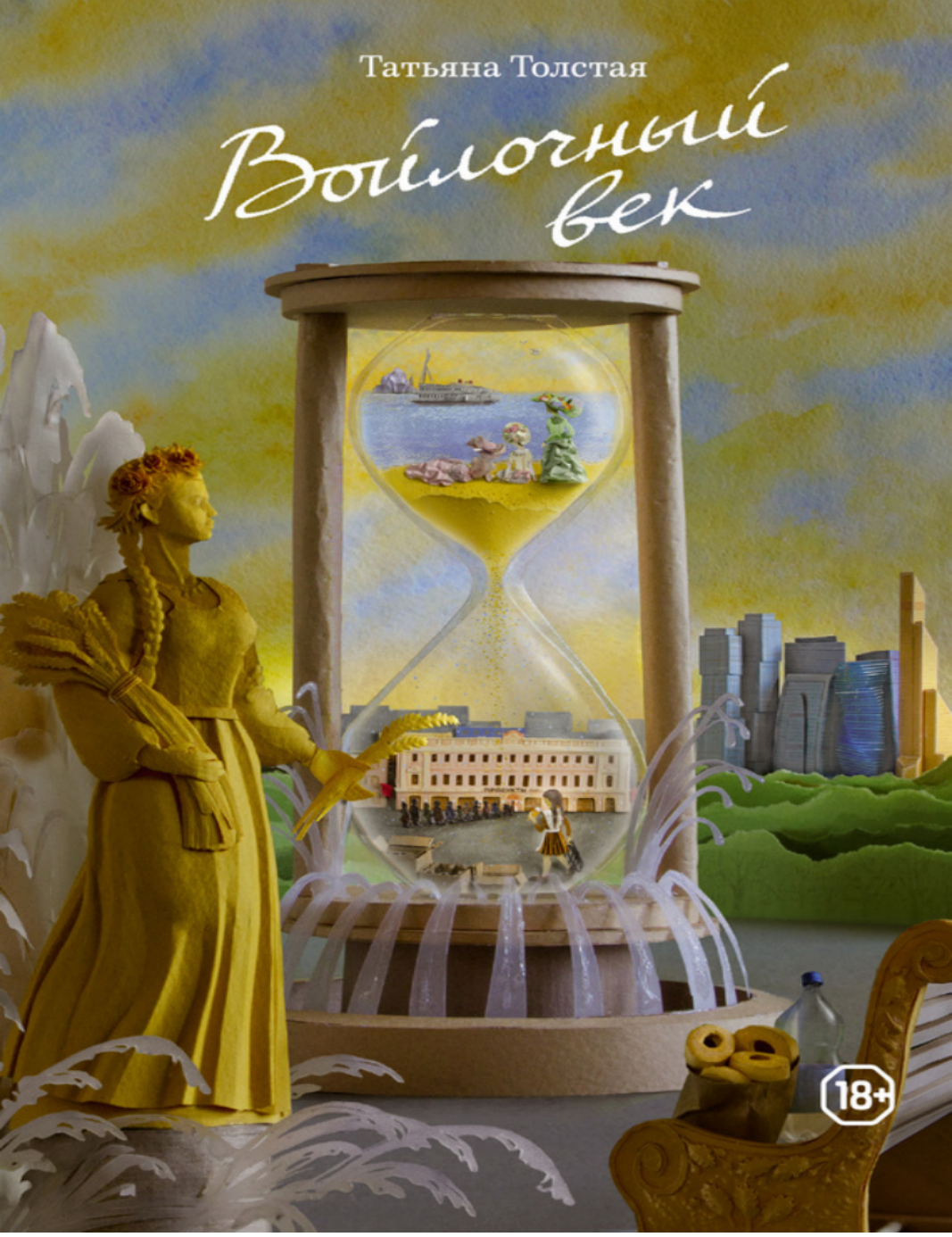
Татьяна Толстая

Войлочный век



18+

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Татьяна Толстая – прозаик, публицист, телеведущая («Школа злословия»), лауреат премии «Триумф» и Премии им. Белкина («Легкие миры»). Автор романа «Кысь», сборников рассказов «На золотом крыльце сидели…», «День», «Ночь», «Изюм», «Легкие миры», «Невидимая дева», «Девушка в цвету» и др.

В новую книгу «Войлочный век» вошли как новые, так и публиковавшиеся ранее рассказы и эссе, объединенные темой времени.

- Татьяна Толстая
  -
  - Войлочный век
    - Гамаюн
    - Летун
    - Несуны
    - Сходить в магазин
    - Огневой щит родины
    - Слёзы
    - Счастьё
    - Часы
    - Женский день
    - Мороженое
    - Уничтожение
    - Белый мундир
    - Володя Герасимов
  - Смутное время
    - Частная годовщина
    - Яблоки считать цитрусовыми
    - Ряженые
    - Под блузами – коммунисты
    - Интерлюдия
    - Виновата ли я?
    - Я себя под Лениным чищу
    - На Красной площади всего круглей земля
    - Художник может обидеть каждого
    - Новое имя
    - Дедушка-дедушка, отчего у тебя такие большие статуи?
    - Человек!.. Выведи меня отсюда
    - Ложка для картоф.
    - Битва креветки с рябчиком

- Неугодные лица
- Белые начинают и выигрывают
- Черный воротник и белый снег
- Всех гнать
- Смех и грех
- Черные лица
- Кашин и другие
- Ardo
- Ползет!

- Случайные дни
  - Глаза разуйте
  - Уроки химии
  - G.W.
  - Пушкинистика
  - Кикимора
  - Аллегория
  - Папуа
  - Выйти в люди
  - Коротыш
  - Без чеснока
  - Нога
  - Русская школа
  - Бессмертный
  - Витя
  - Лаванда
  - Муджадра
  - В Европу
  - Мне стыдно
  - Счастливые люди
  - Муха
  - Свинья
  - Самый короткий день
- Золотой век
  - Лилит
  - Золотой век
  - Анастасия, или Жизнь после смерти
  - История спасения
  - Будет он помнить про царскую дочь
  - Дворцовый заговор
  - Деньги
  - Вся оставшаяся жизнь
  - Небо в алмазах
  - Непревзойденная роскошь
  - Предчувствия и предсказания

        - Черный айсберг
        - Расследование
        - Медведь
        - ВДНХ
- notes
    - 1
    - 2

Татьяна Толстая
Войлочный век (сборник)

© Толстая Т. Н.
© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Войлочный век

Гамаюн

В конце семидесятых в Столешниковом, слева, если к Тверской спиной стоять, был винный магазин, и в нем работала девушка невероятной толщины, уже даже не кустодиевской, а много, много богаче. И невероятной красоты. Сметанно-белое без румянца лицо, а волосы, брови, глаза черные. Совершеннейшая райская птица Гамаюн. Иранская какая-то. Она иногда выходила из подсобки в темном платье до полу, спокойно так и непонятно смотрела, и в магазине наступала тишина. Все мужики (а там, по причине ассортимента, в основном мужики стояли) тут же дурели, замолкали и просто смотрели, остолбенев. А что тут скажешь. Прозрачные, подсвеченные дорогие коньячные бутылки, оранжевое такое сияние, и, заслоняя этот фон, – необъятная, пышная бело-черная она.

Я думаю, что родись такая во времена, когда полнота была в моде, – из-за нее велись бы войны кровопролитнейшие, до кирпичного крошева, до голой земли, до воронья в тишине. Племена и народы бы исчезали, и язык бы их забывался. И на разоренных фундаментах росли бы маки и репейник.

Но полнота в моде не была. Модно было – «доска, два соска». Сапоги-чулки, яркая юбка выше коленок. Коленки-то как хороши, как они манят и мелькают, светлые, многие сотни их, особенно если взять бухла, и с запасом, и принять на грудь, и пройтись с ребятами по теплой летней Москве, в сгущающихся сумерках, в вечернем переплеске огней, голосов, обрывков музыки и смеха, и безо всяких там непонятных птиц.

Летун

В советское время не поощрялось переходить с одного места работы на другое. Во всяком случае, в шестидесятые годы, потом-то как-то все равно стало, по моим ощущениям. Не знаю, почему. То ли это было психологическое наследие крепостного права, то ли лагерная система не отпускала, то ли существовали какие-то экономические соображения (какие?). Не хватало людей после войны? Ума не приложу. А приложу, так криво.

Но я про слова. Тогда существовал специальный термин «летун». Это тот, кто часто меняет место работы. Помню, в детстве, заголовок в газете: «Летунам – заслон».

Мне представилась стая крылатых существ, полу-людей, полу-альбатросов каких-то, и развернутая во всю ширь сетка, загораживающая серый небосклон, и то, как они бьются об нее, теряя перья, а облететь не могут.

Потом взрослые объяснили.

Позже вспомнила про это, когда прочитала у протопопа Аввакума про ангела: «нигде ему не загорожено».

А летунам заслон.

Несуны

Поскольку в магазинах в советское время ничего хорошего не было, или было, но с очередями, или было, но в другом городе, или было не моего размера, или надо было записаться и приходить на ежедневные переклички в шесть утра, а кто не пришел, того вычеркивали, или еще происходило что-нибудь, мучительно державшее в напряжении, то принято было «выносить».

Выносить – значило воровать, но зачем же такие грубые слова. Собственно, воровством это никто не считал: воровство – это когда ты воруешь у частного человека, чего приличные люди себе никогда не позволяли, если не считать воровства книг, – книги приличные люди воровали, а другие приличные люди, хозяева этих книг, никак не могли этого допустить и строго стояли на страже своих духовных сокровищ.

Воровать книги даже считалось доблестью и объяснялось высокими культурными запросами; человеку хочется иметь сборник стихов или книгу по искусству, – что тут скажешь.

Жажда у него духовная.

Некоторые так прямо не тащили с полок, а брали почитать; понятно, что никогда не возвращали. Так что хорошим тоном было надписать на книжке, на форзаце: «Из книг такого-то», – экслибрисы же не у всех. А грубые люди выставляли табличку с грубой надписью: «Не шарь по полкам жадным взглядом, здесь книги не даются на дом!»

У меня много чего украли, в частности, пришла университетская подруга со своим молодым человеком, и он вынес в своем портфеле несколько редких книжек, выдернув их опытной рукой с полки. После, я слышала, его побили, а то и исключили из комсомола, так как он фарцевал и торговал джинсами, но это пусть, а он, сука, продавал половинки джинсов, то есть одну штанину, запечатанную в пакет, наваривая тем самым вдвойне с каждой пары.

Частное воровство справедливо считалось скотством и подлостью, воровство у государства – доблестью и восстановлением кармического баланса. «Всё вокруг колхозное, всё вокруг мое!» – приговаривали остряки; также существовал расхожий стишок-лозунг: «Ты здесь хозяин, а не гость; тащи отсюда каждый гвоздь!» Лично я как работник издательства тоже тащила свой гвоздь; в моем случае это была бумага (хорошая, белая), резинки, клей. Лента для печатной машинки – черная и двухцветная немецкая. Ножницы. Белилка для замазывания

опечаток – с кисточкой, капиталистическая! А не сраная социалистическая с лопаточкой. Кто красил ногти, сам, из баночки, тот понимает разницу между мягкой кисточкой и твердой лопаточкой! Разница как между асфальтовой дорогой и булыжной.

Правда, это не совсем было воровство, так как все эти предметы нужны мне были для редакционной же работы, только на дому. Отре́зать, приклеить и замазать. А потом, когда замазка подсохнет, поверху любовно вывести печатными буковками новое слово. А бумагу, конечно, я брала для себя, но это тоже было не воровство, а скупка краденого, – я за нее платила. Тетка-завхоз крала у государства и продавала мне, а деньги клала себе в карман. Нам обеим было выгодно.

А вообще несли все и всё, и опять-таки существовала и в зубах навязла шутка про русский народ: «вынесет все, и широкую, ясную…»

Простой трудовой народ, рабочий класс, нес с фабрик и заводов еду. Классика – шоколадные конфеты в высоко взбитой прическе. Какой козел полезет ворошить женскую укладку? Другие места туловища менее безопасны: выходящих обстукивали, обшлепывали, как сейчас делают в аэропорту (выборочно, как я понимаю), а носить-то надо каждый день, рано или поздно попадешься. Так что колбасы в промежности или обертывания ветчиной были не самым удачным решением. Хотя интравагинальная бутылочка коньяка к Новому году лишней не была и доставляла радость всей семье.

Но это несли себе, покушать. А на продажу, малым оптом, – это уже проблема. Так что выкручивались как могли. Перекидывали через забор. То есть выйдут покурить из цеха, прогуляются до забора – и перекинут через него пару-тройку чего они там украли. Или катят в дырку под забором, смотря какая конструкция. После же смены, смело и открыто глядя в глаза охране, – на, обшарь, я чист, – идут в переулочек собирать урожай.

У нас одна знакомая жила в таком переулочке. Крылечко ее дома выходило в глушь и лопухи, а сбоку забор. Вот вышла она на крылечко вытрясти половичок, глядь – а из-под забора выкатывается голова сыру, хорошего, сорт «голландский». В красной оболочке такой. Она, конечно, хвать его – и давай с ним кофе пить.

Интеллигенция же воровала совсем другое. В пищевой отрасли интеллигенция не работала, она сидела по институтам, школам, музеям, издательствам и прочим культурным учреждениям. А что там возьмешь? Вот я, как уже сказано выше,

воровала клей и белилку. (Книг ведь в редакции нет, книги не украдешь. Книги собственной редакции можно приобрести по блату, и при отсутствии этих книг в магазинах это очень ценно, но это другая сторона совкового идиотизма.) У технической интеллигенции было больше возможностей, их жизнь была интереснее.

Существовал целый пласт фольклора о воровстве в научных институтах. Скажем, оборонный институт – охрана там строгая. Но разве настоящий ученый отступит перед сложностями? Вот Николаю Ивановичу нужно вынести лист целлулоида. Ну надо ему. А это пятидесятые годы, значит – что? Значит, кожаное пальто до полу и шляпа. Вот Николая Ивановича в лаборатории обертывают целлулоидом, обматывают веревочкой, сверху – пальто. И идет Николай Иванович, семенит через проходную. Прошел. На улицу вышел. Теперь надо сесть в машину. А целлулоид ниже колена, в нем не сядешь! Тогда два приятеля берут Николая Ивановича, кладут его, как трубу, горизонтально и вдвигают на заднее сидение «Москвича» (старой модели, мышонка такого серого). Дверца не закрывается немножко, но ехать недалеко!

Или вот трубу надо вынести. Заметят. Тогда пятеро ученых ставят подряд пять портфелей, укладывают трубу вдоль, пропуская ее под верхними крышками, застегивают на замки, берутся за ручки и несут этот спаянный суперпортфель как единое целое; кто запретит им идти так плотно, прижавшись?

Это наводит на мысль других ученых, задавшихся дерзкой целью вынести трансформатор. Ну, мощный трансформатор – большая вещь, ни в портфель не войдет, ни под костюмом не утаишь. Так придумали разыграть сценку «озорная молодость». Один водружает себе на спину трансформатор, крепит его лямками; сверху пиджак, и перед будкой охраны его товарищ вдруг с веселым гоготом вскакивает ему на спину: вези меня, и-го-го! И резво пробегают мимо вахты. Вахтер только улыбается в усы и качает головой: ох, молодежь…

Классическую схему, сводящуюся к тому, что человек выносил в ведрах мусор, вызвал подозрение, мусор высыпали, порылись в нем, ничего не нашли и пропустили мужичка: иди, – это-то все знают? Что же крал мужичок? Задачка на сообразительность. Мужичок крал ведра.

Мой любимый пример – это случай, когда сотруднику нужен был лист фанеры, большой, метра 2х2. Ну уж это-то невозможно украсть, правда? А интеллект на что? Сотрудник идет к начальству, держа в руках маленькую фанерку – размером с лист бумаги А4. Из такого ничего для советской

промышленности не сделаешь, бесполезный он! Сотрудник делает скучное лицо. «Иван Иваныч, фанерку вынести можно будет?» Начальник смотрит: можно. «А на вахту записочку?..» Начальник пишет записочку: Сидорову можно вынести фанеру. Сидоров выносит свою фанеру 2х2.

Зачем технической интеллигенции труба, фанера, ве́дра, целлулоидный лист, трансформатор, много чего еще? Так в магазинах же нет ничего, а технические люди – они рукастые. Дачка шесть соток, что-нибудь прикрутить, забить дыру, вкопать там что-нибудь. Дайте технарю моток проволоки – будет антенна для телевизора, и можно будет, ударяя кулаком по верхней его крышке, добиться даже изображения и посмотреть, не знаю, «Кабачок 13 стульев» с Пани Моникой и Паном Гималайским.

Рабочий класс выносит закусь и вообще еду, флаг ему в руки! Технарь выносит детальки и фанерки, исполать! Осмысленные, направленные действия! Но вот смешивать эти два потока не стоило бы, добра не будет. Так, если рабочий попадает на производство вещей несъедобных и вообще ему непонятных, тут и начинается повальная кысь, тут и закручиваются воронки национального безумия, тут филин ухает в лесу и кикимора хохочет из болота.

Один предприниматель рассказал мне такую историю. У него в чистом поле завод по производству мощных магнитов. Размер у них маленький – с двухрублевую монету – а мощь большая. Используются в космической промышленности, больше ни за чем не нужны. Нанял местных – Суздаль, скажем. Может, Углич. Вот стал он магнитов недосчитываться. Воруют, а как воруют – непонятно. Думали, подстерегали, расспрашивали – наконец выяснили. Мужики построили на крыше деревянную катапульту и выстреливали магнитами в чисто поле, в широкое раздолье и духмяное разнотравье, которое так любят наши почвенники. А по полю с железными палками ходили их жёны и собирали магнитики в туеса и белые платочки. Предприниматель не понимал, он спрашивал мужика: ну зачем они тебе?! Зачем?! Зачем ты наносишь мне бессмысленный урон! Ничего не отвечал мужик, только смотрел в пустоту голубыми глазами, в которых ничего не плескалось, ничего не отражалось, ничего не зарождалось.

«Бей русского – часы сделает!» – записал лихую поговорку Владимир Даль. Верю, сделает. Если поймет, зачем они ему. Пока что ни к чему: ведь время на Руси стоит застыв, века остановились, цель невнятна, смысл потерян. Но как солнцу садиться, – тихий посвист деревянной катапульты, и там,

в некошеных травах и беззвучных ромашках, по вечерней росе бредут русские жёны с железными посохами и белыми узелками, и умом не понять их, и аршином, конечно, не измерить.

Сходить в магазин

Советская торговля тоже была удивительно устроена, нынешним людям не понять.

Товары были социалистическими и капиталистическими. Капиталистические товары советским людям нельзя было ни знать, ни видеть, они поступали в «Березки» и оттуда расползались по блатным (номенклатурным) гражданам и по спекулянтам. Поскольку у всех, у кого были какие-то деньги, были и знакомые спекулянты, то капиталистические (хорошие) товары были у всех. Но не часто. Дорого очень.

Скажем, нас у мамы-папы было пять дочерей. На нас, понятно, одежды было не напастись, на кобыл таких. И все хотят хорошее, а плохого не хотят. Обувь тоже. Где ее возьмешь? Я помню, в 1974 году собралась в Коктебель. А сандалий нет. В магазинах нет. Боты «прощай, молодость» есть. Тапки без задников, войлочные, так называемые «ни шагу назад», – пожалуйста. Туфли какие-то страшные – тусклые, румынские, какашечно-коричневые со шнурками, это есть. В 1974 году невозможно себе было представить на женщине туфли тусклые, румынские, какашечно-коричневые со шнурками, то есть представить можно, но это если такая женщина уже повесилась с горя и, обутая соответственно, болтается в петле.

У нас был родственник-француз, о нем петь и петь, пока струны не порвешь; вот я его принудила пойти со мной в «Березку» и купить мне хорошие туфли на свадьбу. Он был жадный до синевы, лишь слово «свадьба» что-то в нем шелохнуло, да и то только потому, что ему от папы тоже было нужно кое-что, а именно копия Указа Александра II из архива. О том, что он граф. Ему Указ, мне – туфли на каблуках, не знаю, справедливый ли обмен?

Так что я на своей свадьбе была в остромодных лодочках фирмы «Габор» на высоченном каблуке и маленькой платформе, цвета коньячного; платье на мне было из свистящего ацетатного шелка в больших желтых цветах, короткое и общелканное по фигуре, так как моя портниха Валентина Иванна воровала ткани без всякого зазрения совести; как-то я пришла к ней без звонка, нагрянула. Смотрю – а у нее на диване подушки в чехлах из тканей, предназначенных на наши платьица и юбочки, – не успела спрятать. Густо-густо покраснела Валентина Иванна… но я не о том.

Я о том, что ни в общелканном платье в цветах, ни на габоровских наборных каблуках на море не поедешь

и на горы не полезешь. Сандалии нужны. А их нет. И я через знакомых разыскивала старух, которые бы помнили 1919 год и, соответственно, умели бы плести сандалии из веревок; и мне такую старуху даже нашли, но закавыка была в том, что в магазинах в 1974 году веревок не было.

Я уж не помню, как я тогда выкрутилась, но помню, что в нашей компании, ходившей в горы, была женщина в летнем пальто. Это в жару 30 градусов. Я тихо спросила: это она что?.. И мне тихо ответили: а у нее платья нет.

У нас тоже была спекулянтка, хотя маме мешали принципы: мама считала, что спекулировать нечестно. Но мы с маминими принципами не считались, мы разрешали ей иметь свое особое мнение, а нам нужны были хотя бы иногда красивые капиталистические товары! Так что мы с сестрой Наташей купили себе у спекулянтки одинаковые финские пуховики на кнопках, и наша невестка тоже такой купила, и мы как дуры ходили в совершенно одинаковых пальто, но это было все равно круто. Вам нынешним не понять.

Еще круто было иметь мохеровый шарфик. Мужчины носили. А я была у нашей спекулянтки дома – так там вся квартира, все серванты и полки были заставлены хрусталем, как у спортсменов бывает кубками и наградами. А на двуспальной кровати было постелено необъятное мохеровое покрывало в шотландскую клетку, размером, наверно, 2×3 метра. Это производило такое же оглушительное впечатление, какое производили, наверно, на гостей хоромы Чурилы Пленковича, былинного иностранца и убийственного красавца: пол в его хоромах был серебряный, а потолок обит черными соболями.

Чурила Пленкович плохо кончил; спекулянтка, боюсь, тоже.

А социалистические товары можно было купить в Москве в особых магазинах: «Ванда» торговала польскими тенями для глаз, соседняя с ней «София» каким-то кошмарным розовым маслом, от которого у всех, кого я знаю, болела голова, как у булгаковского Понтия Пилата; еще был «Лейпциг», а на краю света, на оврагах, стоял «Ядран».

Один раз я в этом «Ядране» была. Там давали водолазки, называемые «банлонами», а иногда даже и какие-то кофточки. Но «давали» – это не просто «продавали», как могут подумать нынешние наивные люди, ностальгирующие по совку. Не-е-ет, это так просто не делалось.

Кофточки продавались запечатанными в целлофановый пакет. Распечатывать и примерять их было нельзя. Почему – не спрашивайте. По кочану. Сначала купи, а потом и примеряй! А поскольку крой был, прямо скажем, югославский, то есть

неизвестный и непривычный, то угадать, какого размера тебе нужна кофточка, было невозможно. А вдруг в груди тесно? Или рукава болтаются? Так что женщина сначала билась в очереди, напирая на прилавок, затем выхватывала две кофточки примерного размера, – не подойдет одна, другая сгодится, – и, потная и растрепанная, выпрастывалась из людского моря наружу, на овраги. И там, среди незаасфальтированных ям, распечатывала пакет и мерила на себя кофточку. Много там стояло похожих друг на друга озабоченных женщин и, мало стесняясь мужчин, мерило на себя кофточки. Чего их стесняться, это не те мужчины.

А если, как в общем-то и планировалось, кофточка не подошла, ее тут же клали назад в пакет и продавали другой женщине, размером поменьше. Их много вокруг стояло и бродило.

И вот я взяла с бою кофточку, выбралась, распечатала, примерила, – не подошло, – положила назад в пакет и продаю какой-то даме. Тут подходит милиционер – их там было как блох. И говорит: «Пройдемте в отделение. Вы занимаетесь спекуляцией!» Дама испугалась и убежала, только пыль с оврагов поднялась в тихий воздух. Я говорю: «Нет, спекуляцией я не занимаюсь». – «Вы занимаетесь перепродажей, а это спекуляция». – «Спекуляция, – говорю я, – это если бы я перепродавала с выгодой. А я продаю за ту же цену, за которую купила. Нет в моих действиях никакого состава преступления. Мы с вами только время потеряем». Милиционер подумал и рукой махнул.

Но это мне крупно повезло. А мою сестру Катю в точно такой же ситуации – ей было в груди тесно, – поволокли в ментуру и там составили акт и оформили привод. Думаю, она начала по своей привычке искать правды, качать права и орать на представителя властей – как Лимонов на Триумфальной площади.

Но сестра Катя мне про это не рассказывала, а узнала я про этот эпизод из ее криминального прошлого случайно. Году эдак в 1992-м стою в магазине на Полянке, держусь я за карман, и тут ко мне подходит незнакомый мне граждан. В смысле женщина. «Я, говорит, журналист, и недавно проходила мимо нашего районного ОВИРа. Там они документы выбросили, личные дела. Я покопалась в них и выбрала оттуда папки со своим делом, и с несколькими знакомыми тоже взяла. И ваше дело у меня есть. Хотите, сбегаю, принесу? Я рядом живу». – «Несите», – говорю. Она сбегала и принесла. Там и анкета моя последняя, и копия приглашения в Грецию, и еще какие-то справки, и –

на зелененькой бумажке – строгое указание. Донесение, можно сказать. Что в семье у Татьяны Никитичны Толстой неблагополучно. Сестра с приводом. Наклонности у семьи, стало быть, тревожные. Обратите внимание и будьте бдительны.

Вот что такое сходить в магазин при советской власти.

Огневой щит родины

Году так примерно в 1980-м пошла я в магазин. Улица Шокальского, стекляшка, он и теперь там стоит.

В магазине ничего нет. Маргарин есть, и говяжьи кости. Консервы еще какие-то невозможные, вроде «Рыбного завтрака туриста», это есть. (Ровесники! Вы помните «Рыбный завтрак туриста»? Вскроешь консервным ножом, а там глаза белые плавают.)

Подхожу к прилавку, где рыба-яйца. А там яичные картонки высоко так воздвиглись, до потолка. Продавщица стоит, руки скрестила, ноздри раздула, смотрит гневно, как царевна Софья на известной картине.

Я говорю:

– Мне яиц десяток.

Она, помолчав:

– Нету!

Я:

– Э-э. А – это вот – не яйца, что ли?

Она:

– Нет! – Помолчав, громко: – Сгнили нахуй!

Хорошо, значит, не вышло. Иду посмотреть на маргарин, это другой отдел. Масла нет, а я надеялась. Оно когда было, то было развесное, таким огромным кубом лежало. Другие покупатели тоже подошли и смотрят на пустой поднос. Потом одна старушка, вздохнув:

– Масла нет… Вот и хорошо, значит, войны не будет!

Теперешние люди не найдут в этом вздохе логики, но логика была самая прямая: советская пропаганда учила, что продуктов нет потому, что деньги, средства и силы, необходимые на производство продуктов, пошли на оборону. Поэтому чем меньше масла (или, там, ветчины), тем крепче наша броня, огневой щит Родины.

Та же пропаганда объясняла отсутствие мяса тем, что богатые евреи завели себе собак и кормят их мясом, а нашим людям вот потому и не хватает. Не могу не восхищаться советской пропагандой: «семерых одним ударом». Высший пилотаж.

Слёзы

Брежнев умер 10 ноября, а как раз накануне мне сделали операцию на глазах. У Федорова в клинике. У меня была близорукость (да и сейчас есть, никуда не делась), но у Федорова делали коррекцию зрения; что-то там измеряли и прикидывали, а потом делали насечки на роговице, так, чтобы она расшеперилась и расклячилась и стала ближе к хрусталику, в котором сходятся световые лучи. Это как если вы купили берет, и он вам мал, и вы бы захотели надрезать его эдак радиально и вставить клинья. Тогда он на голову налезет. Резали прямо бритвой, лезвием «Нева». Лазеров в 1982 году еще не применяли.

Искусство врача заключалось в том, чтобы сделать насечки (надрезы) на нужную глубину таким образом, чтобы через три месяца, когда шрамы заживут и стянут эти надрезы, зрение стало бы стопроцентным. Чтобы не только Ш Б м н к, – а и самые нижние строчки читались легко. А три месяца, пока глаза заживают, у тебя дальнозоркость с большим запасом, муть в глазах, боль, резь, обильные слезы при малейшем попадании света в глаза. Ночью легче, но зеленый свет почему-то мучителен. Светофорный зеленый.

Операцию делали сначала на одном глазу, а через неделю – на другом. Первая операция была совершенно безболезненной – ощущения после нее были всего лишь такие, словно тебе в глаза насыпали немножко песку. Зато после второй начиналась такая невообразимая боль, что ты еле успевал добраться до дому, чтобы с воем забиться в самый темный угол и пугать оттуда всю семью, бегающую в ужасе взад-вперед с бормотанием: ну что же ты наделала… ну мы же говорили… Эта кромешная боль продолжалась неделю, а потом тоже продолжалась, но уже не такая кромешная. Огонь под адской сковородочкой убавляли, и просто тушили тебя на небольшом огне, периодически помешивая и добавляя перец чили.

Я не помню, какого числа меня оперировали, но, зная русскую жизнь, историк легко это вычислит. Перевязка была назначена на 15-е, день похорон Леонида Ильича, как выяснилось позже. Перевязывают примерно через неделю после операции, но 8–9-го оперировать меня не могли, так как после праздников, как известно, у врачей руки дрожат. Значит, меня прооперировали до праздников, и скорее всего 5-го, так как 6-е – короткий день, и вообще – надо успеть постоять в очередях. Может быть, выбросят дефицит. Ветчину утюжком.

Стало быть, короткий день, потом страна два дня ела родное

с майонезом и любимое под шубой, а на сладкое – домашнее печенье «орешки» с начинкой из вареной сгущенки, потом похмелье, низкие небеса, короткий день, редкий снег, вялость и все как всегда, – ан нет, не как всегда! Брежнев умер! Неслыханное дело! Жил себе и не умирал, а теперь вот умер.

Брежнев был всегда. Совершенно неважно, хороший он был или плохой, соображал он что-нибудь или и вправду был таким туповатым партийным мешком, героем анекдотов про себя: «Христос воскресе, товарищ Брежнев!» – «Спасибо, мне уже докладывали». Он был, он длился, он висел над землей непроглядной тучей, из которой иногда хлестало дождем, а иногда валил снег; он длился, но время не шло, часы тикали впустую, механизм поломался, и пружину у кукушки заело.

И вот – здрасте пожалуйста. Старшее поколение вспоминало смерть Сталина, и то, как тайно радовались сапиенти, и то, как явно рыдали игнорамусы, но там была драма, а тут никакой, и непонятно, каким должен быть рисунок скорби, пусть и фальшивой. Брежнев давно уже был не человеком, не персоной, а температурой воздуха, давлением ртутного столба, направлением ветра – из одной душной пустоты в другую душную пустоту. И вот вам объявляют, что прежнего климата уж не будет. А какой будет – не говорят.

Его никто не боялся, и все над ним смеялись. Году в 1977-м, когда строился мой будущий дом на проезде Шокальского – дом из песка и тумана в буквальном, строительном смысле: дырки в стенах под карнизы я сверлила карандашом, цемента там совсем не было, – в 1977 году я поехала давать взятку строителям, чтобы они уложили паркет не квадратиками, а елочкой, так как квадратики выходили из строя гораздо быстрее, и заноз от них было больше; прессованный мусор дает много заноз. Я везла бутылку водки; строители приняли ее не удивившись и не обрадовавшись, а как нечто само собой разумеющееся: открывается дверь и входит бутылка водки, а как иначе? и щука, и золотая рыбка давно служат русскому человеку, ибо он живет в сказке, во сне, на кудыкиной горе.

Рабочие сидели на горе бракованного паркета, выпивая и закусывая консервами «частик в томате», и смеялись над Брежневым, уж не знаю, почему; кажется, он выдал себе очередную медаль; к концу жизни их у него скопилось, вместе с орденами и какими-то подхалимскими наградами от Гвинеи и Северной Кореи, больше двухсот. «Пущай в подмышку, блять, себе привесит!» – смеялись рабочие, а один изображал эту новую медаль при помощи консервной банки, прикладывая ее себе то к нагрудному карману, то к ширинке.

Рабочие водку взяли, а паркет уложили все равно по-своему, – роевое начало, воспетое Львом Толстым, живет по своим законам, и выполнение взятых на себя обязательств после получения оплаты в этих законах не предусмотрено.

И вот праздники прошли, пироги доедены, дрожь в хирургических руках немного утихла, настал день перевязки – 15 ноября, и я поехала из Медведкова в Бескудниково на автобусе в федоровскую клинику. Автобус шел бесконечно долго и медленно, пробираясь через какие-то железнодорожные пути, мимо товарных вагонов, мимо груд просыпавшегося щебня, мимо помоек, мимо еще не снесенных окраинных деревень и пивных ларьков с длинными очередями. Я смотрела в окно одним глазом, второй был заклеен, и мне было плохо видно и печально. И автобус был печальный – советский, бедный, старый, холодный, дребезжащий. Земля уже была твердая, схваченная морозом, и с угрюмого утреннего неба падали, кружась, злобные, холодные снежинки.

Мне было странно, что он умер 10-го, в аккурат после праздников, когда от всего застолья остался только студень на балконе. То есть народу дали доесть и вымыть посуду, а уж потом объявили, что теперь – скорбь. Четыре траурных дня! Я думаю, он умер раньше и лежал себе холодный и ненужный, пока шли эти холодные и ненужные праздники; а впрочем, праздники всегда нужны, они не входят в общий счет прожитых дней, подобно тому как у древних египтян не входили в счет прожитых дней дни, проведенные на рыбалке.

А в этот момент как раз опускали гроб, и объявлена была пятиминутка молчания. Остановился транспорт по всей стране, загудели гудки паровозов и сирены заводов, все встало, и наш автобус тоже встал. Прямо на железнодорожных путях. Мы почти приехали, но водитель выключил мотор. Автобус мгновенно остыл и стало тихо и совсем холодно. Я оглянулась. Сзади меня сидели человек десять – остальные вышли раньше, и остались только клиенты глазной клиники. У каждого один глаз был заклеен. Десять злых советских людей в автобусе, ледяном как гроб, и выйти нельзя, и нельзя ехать. И снег кружится и шуршит в окна.

Я просто физически чувствовала, как в атмосфере растет ненависть. Десять циклопов сидели, не поднимая своего единственного глаза, чтобы не выдать себя злобным сверканием взгляда, но складка рта и наклон лба бывают красноречивее слов и глаз. К концу пяти минут гражданской скорби изо ртов пошел пар: автобус окончательно остыл.

Так мы проводили эпоху.

Потом мотор зарычал, заработал, заструилось слабое тепло, и мы быстро доехали до клиники и разбрелись каждый по своим горестным делам.

Счастьё

В 1986 году стало можно ездить куда хочешь, и я, не веря своему счастью, поехала с мужем в Грецию. На пароходе.

Ужасы, сопровождавшие получение паспорта и выездной визы, не поддаются описанию, так как были вытеснены по Фрейду и несколько забылись. Так, отдельные эпизоды остались в памяти.

Чтобы получить выездную визу, надо было напечатать на машинке подробнейшую анкету. В ней требовалось указать не только когда ты родился и женился, но осветить весь свой трудовой путь. Расписать свою трудовую книжку. А трудовая книжка у меня была своеобразная, так как я в сентябре нанималась на работу, а в июне с нее увольнялась, потому что уезжала с детьми на дачу. Работа же была одна и та же: я работала младшим редактором в издательстве Восточной литературы (да, оно длиннее называлось), но так как все ставки младших редакторов были заняты, я называлась корректором и получала 103 рубля.

Так что трудовая книжка рисовала портрет дерганого корректора, который то берется за работу, то бросает ее, то снова кидается на работу, то снова не желает трудиться, то туда, то сюда, то вот опять, то – нет, не могу. Не удивительно, что злобная тетка, капитан КГБ, пристально смотрела на анкету, прожигая ее глазами, – как-то ей неясно было, в чем тут закавыка, но она вот прямо чуяла крамолу.

Также в анкете необходимо было указать все дни рождения всех братьев и сестер (а их у меня было шестеро), все даты и учреждения, в которых они когда-либо обучались и работали, с точным развернутым названием этих учреждений (Ленинградский Государственный Университет имени А. А. Жданова, Государственный Оптический Институт имени С. И. Вавилова и прочие глупости).

А если кто-то умер, то изволь сообщить, на каком кладбище похоронен, ряд и номер могилы. Потому что социализм – это учет.

Все эти ненужные сведения необходимо было напечатать на машинке в двух, кажется, экземплярах (а чё так мало?) без единой помарки. Если ты допустил опечатку – начинай сначала. Замазывать белилкой нельзя! Потому что кто знает, какие шпионские сведения ты пытаешься прикрыть белилкой? Кому сигналы подаешь?!

Наконец, испортив кучу бумаги, я напечатала эти анкеты, с длинной историей своего несуществующего корректорства,

с обнажившимися подробностями жизни братьев и сестер, с именами и датами. Все было вроде чистенько и аккуратненько.

А мы ехали в Афины к тете мужа, и звали тетю Ифигения. Женщина-капитан сразу это возненавидела. Спрашивает сквозь зубы: «Так… А что это у вас за тетя и почему она там оказалась?» Мы говорим: «Потому что она там родилась». Женщине-капитану это почему-то в голову не пришло. В ее мире, наверно, все рождались в одном и том же месте, а потом некоторые предавали родину и бежали в другие земли; только так. Я смотрела, как она тяжко думает, держит бумаги в руках и думает: где тут подлянка? Но подлянки не нашлось.

Паспорта получили, следующим заданием Бабы-Яги было обменять деньги. Разрешалось обменять самую малую малость, вроде трехсот долларов на двоих на полтора месяца жизни, но и это было затруднительно сделать. Власти норовили выдать паспорт за день-два до отъезда, так что получать деньги в специальном банке надо было быстро, за этот день-два, а очереди там стояли примерно дня на четыре. Вот как хочешь, так и крутись. Но был, конечно, черный ход. Надо было достать банку французских духов, завернуть ее в невидный такой пакетик, пакетик в большой пакет, нагло пройти мимо возмущенной очереди среди криков граждан и крикнуть лживым веселым голосом: «Девочки, а Наденька сегодня у себя?» Девочки, тертые и ушлые сотрудницы органов, прекрасно понимали схему, – Наденька, думаю, делилась или приторговывала. Наденька была у себя. Теперь надо было ей, совершенно не знакомой и впервые увиденной даме, с легким хохотом передать пакет с какими-нибудь незначащими словами: «вот, как обещала!» или что-то такое. После чего Наденька давала отмашку, и процедура валютного обмена проходила вне очереди.

Следующим этапом было переночевать в Одессе перед посадкой на пароход. Как известно, в советской гостинице мест не бывает. Но у нас был блат в военной гостинице. Приходим, какие-то там документы типа брони предъявляем администраторше. Просим номер на двоих. Администраторша – еще один советский питбуль. Обрадовалась: «Я вас в один номер поселить не могу!» – «Это почему еще?» – «А где у вас доказательство, что вы муж и жена? Где штамп, где свидетельство о браке?»

Я говорю: «Вы же прекрасно знаете, что по закону мы не имеем права вывозить эти документы за границу. Так что с собой их у нас нет. Но вы можете видеть, что наши иностранные паспорта отличаются на одну цифру и, значит, выданы нам одновременно. Отсюда – простое логическое умозаключение». –

«Нет! Я не допущу тут разврата! Будете спать в общих номерах – вы в мужском, а вы в женском!»

Я попробовала по-хорошему еще раз: «Видите наши билеты на пароход? Мы будем проживать в одной каюте и предаваться самому разнузданному супружескому разврату». Но нет, она была просто счастлива испортить людям настроение.

Нет так нет. Мы вышли из гостиницы и позвонили в Москву моему свекру. Свекор у меня был генерал-лейтенант и, в принципе, мог этот одесский гарнизон со всеми его крашеными в жгучую блондинку бабами раздавить одним пальцем. Свекор попросил полчасика. Через полчасика мы вернулись к администраторше. Она уже минут десять как рыдала, лицо ее было черно от потоков туши. Молча мы протянули ей паспорта и молча получили ордер на комнату и ключ. Она чего-то хотела, каких-то объяснений, хотя бы криков, – но зачем?

Начальник одесского гарнизона, получивший пиздюлей в виде неприятного звоночка, уже прислал нам ординарца, и ординарец, страшно довольный скандалом, рассказал, что муж администраторши – городской прокурор, и вот теперь этот прокурор получил свою порцию пиздюлей от начальника гарнизона, а уж что сделает прокурор дома с женой – давайте присядем и тихо помечтаем.

А наутро мы сели на пароход, но перед тем Родина решила еще раз обшмонать нас с головы до ног и запретить что только можно. Одесская морская таможня, неулыбчивая, как все таможни, с встревоженными, зоркими глазами, осмотрела нас, раскрыла чемоданы и прощупала чуткими пальцами каждый сантиметр. Ничего. Не может быть. Должно что-то быть.

Тут таможня увидела, что мы везем, укутав их в полотенца, банки с солеными огурцами для репатрианток Анны и Лены. Анна и Лена, черноморские гречанки, живя в России, были выпивохи и любили закусывать солеными огурчиками и селедочкой. И теперь они писали моей свекрови слезные письма: если кто поедет, привезите огурчиков! тут их нету! Вот мы и везли теткам огурчиков.

И таможню осенило: вот где они таят жемчуга и золотые часики! Брильянты – вот они где! И банки с огурцами таможня поставила в особый прибор – рентгеновский просвечиватель двухметровой высоты, с окулярами как на подводной лодке, если смотреть в перископ и высматривать врага на далеком морском горизонте. И такое рвение читалось в ссутулившейся фигуре, жадно прилипшей к удивительному прибору, крутившей обеими руками какие-то спецколеса, что я задумалась: а мало ли? Может там и правда что-то само выросло на грядке такое недопустимое?

ведь не может вся эта сила запретов пройти впустую?..

А в Греции, в Афинах в тот год Россия была в моде, в большой моде. В витринах магазинов манекены были одеты в платья, украшенные русскими буквами – от горла до подола. Буквы складывались в слова.

С
Ч
А
С
Т
Ь
Ё

или, так же вертикально, ЖЕЛАНИЁ. А в одной витрине красовались шорты с надписью «Бронепоезд 14–69», и мы очень хотели их купить и привезти в подарок, но не было у нас таких денег. Денег не было.

Часы

Мой свекор был генерал-полковник. Самый что ни на есть боевой: мальчишкой пошел на войну, всю прошел до конца, ранен, потом Корея (помню, в серванте долго стояла изящная красная чашечка), потом две Академии. Был артиллеристом. Ордена – от ключиц до печени.

В 1985 году был очередной юбилей Дня победы, и армейские подхалимы надарили ему кучу военно-патриотического говна: кожаные «адреса» – папки такие с золотым тиснением; стеклянные шары, в которые волшебным образом был вставлен сверкающий белым Кремль, или же портрет самого генерала; особые юбилейные часы.

Этих часов у него скопилась куча. Когда я поехала в Америку в 1989 году, я попросила его: дайте мне часы какие-нибудь, – и он принес мне коробку. Я выбрала поприкольнее: там воин взметнул руку, – вперёёёд! – прямо посреди циферблата.

Я знала, что между нами и Америкой восемь часов разницы. Причем там – раньше, чем здесь. Учла. Поставила московское время. Лечу в самолете, часы на руке. Лечу, посматриваю. Часы идут себе вперед, идут. Задремала.

Очнулась, гляжу на часы – батюшки, они показывают время намного более раннее, чем было при вылете! Неужели чудо-часы сами знают, как поставить американское время?! Снова вернула московское. Лечу дальше.

Через которое-то там время снова глядь – а они опять норовят перейти на американское! И перешли! Параноик заподозрил бы политическую провокацию! Я сняла часы, положила на столик и затаилась. Подождала как следует, потом снова взяла их. Стрелки уже были примерно на 11:10 – и они бессильно упали вниз к шести.

Ларчик открывался просто: импотентные юбилейные часы были сработаны наплевательски, по-хамски, кое-как, левой ногой, – говорят, в Эстонии есть специальное старинное выражение «русская работа», вот это она и была. Лежа в горизонтальном положении, стрелки еще кое-как ползли, подтаскиваемые часовым механизмом, но вертикального положения не выдерживали и вяло падали вниз.

И я поняла, что Советскому Союзу, да и всей советской империи – пипец. Страна, не способная сделать обычные ручные часы для своего защитника ко дню его праздника, развалится.

Так и вышло.

Женский день

У нас дома восьмое марта презирали: считали государственным праздником. Государственное – значит принудительно-фальшивое, с дудением в духовые инструменты, хождением строем, массовым заполнением карточек, называемых поздравительными открытками. «Желаем успехов в труде!..» Государственное – это когда на тебя кричат, унижают, тыкают в тебя пальцем: стой прямо и не переминайся с ноги на ногу! Это когда все теплое, домашнее, хорошее и уютное вытащено спросонья на мороз, осмеяно, подвергнуто оскорблениям. Государственное – это школа, первая примерка тюрьмы. В школе учат дурному и противоречивому. Говорят: «Сам погибай, а товарища выручай», – и тут же велят доносить. Говорят: «Надо помогать другу», а списывать запрещают. И на уроках пения поют и поют про каких-то мертвых орлят, пионеров, партизан, солдат, якобы храбрых мальчишек, заползающих в тыл непроясненному врагу, чтобы там навредить, а так как известно, что мальчишки всегда вредят, что с них взять, – то и поёшь с отвращением, по государственной, холодной обязанности.

Черная школьная зима, вонь чернильниц-непроливаек, неприличное слово, вырезанное на парте, полы, вощенные красной мастикой, кабинет завуча, мимо которого проходишь, холодея: а вдруг выскочит и завопит, тучная, тряся багровыми щеками, полуседыми волосами, заплетенными в косицы «корзиночкой», – ужас, – все это государство.

Стены у него коричневые, тоскливые, и одежду тоже нужно носить коричневую, чтобы не отличаться от стен. В волосы – у кого коса – надо заплетать черные или коричневые ленты, а по праздникам – белые. Праздники у них – это когда на каждом этаже музыка и пение из громкоговорителей: «Мечтать! Надо мечтать!» – поет ангельский хор провокаторов, а в классе Валентина Тимофеевна орет, стуча по столу костяшками пальцев: «Я не о том спрашивала!.. Слушать надо!.. Размечталась тут!..» Праздники – это когда государственные цветы гладиолусы засовывают в кефирные бутылки и густо уставляют ими подножие ниши, где, укрытый от воздушной волны, создаваемой пробегающим табуном хулиганов, стоит и слепо блестит масляной краской белый ильич. На праздники уроков меньше, но домой не отпустят: надо идти в актовый зал, где будет представление. И хорошо еще, если позволят просто сидеть на деревянных откидных стульях, прищемляющих то пальцы, то платье, – а ну как заставят выступать? И тут они обязательно

унизят и отомстят. Отомстят за то, что я умею быстро читать, и не хочу читать медленно, по слогам, не хочу притворяться, что справляюсь с трудным текстом: «ТУТ КОТ. А ТАМ?» На «празднике азбуки» они заставят меня изображать букву «р» – которую я не произношу. «Роет землю черный крот. Удобряет огород». И все будут надо мной смеяться. И толстая тетка, завуч, – не человек, а слипшиеся комья, – всегда одетая в один и тот же приличный синий чехол, тоже разинет из первого ряда свой отремонтированный, подбитый сталью рот: ха-ха-ха.

На переменах мы должны ходить парами, взявшись за руки, по кругу. Я бы хотела ходить за руку со смуглым мальчиком Даниловым или, на худой конец, с девочкой с чудным именем Роза и с маленькими синими сережками в ушах. Но выбирать не приходится: меня спаривают с Володей, я должна держать его потную лапку, усыпанную бородавками. Мне семь лет, я страдаю. Что-то, – не знаю что, – оскорблено и бунтует во мне. Я не хочу. Государство (хотя я и не знаю этого слова) давит на меня фикусами в оконных проемах, картинами в золоченых рамах, откляченными от стены («Охотники на привале», «Богатыри на перепутье» – скопище мутных уродов, но и этих слов я не знаю). Ноги медлят и вязнут в красной, густой, государственной мастике. Свет тусклый. Володины бородавки, как сухой горох, впиваются в мою испуганную ладонь. Вдруг с криком, шумом, синим всплеском кто-то большой накатывается на меня потной волной, хватает, отрывает от карликового, мелковеснушчатого Володи, тащит, волочит, выкрикивает, – швыряет меня на «середину»: выталкивает в особый, позорный ряд посреди зала, где стоят отпетые: двоечники, убийцы, плюющиеся через трубочку жеваной бумагой, террористы, забывшие дома тетрадь, враги рода человеческого, не подшившие воротничок. Меня! Меня!.. Меня?!

Их уже двое, потом трое; они кричат, они воздевают огромные руки, они вращают глазами, огромными как мельничные колеса, секунда – и они растерзают меня в клочья. Женщины, фурии, учительницы. Что, что, почему? что не так?.. Сквозь клокотанье разбираю обвинение и приговор: там, сзади, на моей спине, где мне не видно, у меня в косе красная лента: мама заплела мне красную ленту вместо черной, моя мама – преступница, я – тоже, мы с мамой сокрушили основы, потрясли столпы, задумали свергнуть, подрыли, насмеялись, презрели. Ошеломленная, стою в позорном ряду с убийцами и растлителями: маленькими, испуганными, круглоглазыми от стыда и страха, но презрительно усмехающимися семилетними преступниками; приравненная

к ним, низведенная до, стертая в пыль, чудовище в коричневом платьице и отглаженном фартучке. Красная позорная лента – развратная лента, женская лента – невидимо горит у меня на спине кленовым листом, бубновым тузом, огненной отметиной. Красные от крика лица склонились надо мной, рты разинуты, – сквозь лебеду десятилетий не слышу, не помню, не понимаю слов. …Когда приходит весна, они собирают по три копейки и покупают открытки, а потом раздают их нам, раскладывая на парты: каждому по глянцевой карточке. На одной стороне карточки – восьмерка, петля, лента Мёбиуса, совершенно такая же, какую показывал папа, склеив из бумаги: смотри, вот полоска, так? а вот я ее поворачиваю, так? и соединяю концы… а теперь скажи, где наружная сторона и где внутренняя? Я не понимаю, где; голова идет кругом. Я держу бумажную петлю в руках и пробую ее пальцем. Я беру карандаш и провожу по полоске линию: бесполезно, все равно ничего не понять, у всех вещей на свете есть наружная и внутренняя сторона, а у этой – одна, только одна, всегда одна, это какой-то обман, это неправда, так не бывает!

У государственной открытки – две простые стороны: на одной красная лента восьмерки, запрещенная, женская, преступная лента, змея, кусающая саму себя за хвост; под ней веточка мимозы, – цыганского, несуществующего в природе растения, – оно появляется раз в году, весенними вечерами, оно светит желтыми шариками в питерском сыром мраке, его приносят домой, и оно сейчас же умирает, не выдержав насилия.

На другой стороне картонки – белая, разлинованная поверхность, и на ней, под диктовку краснолицых, толстых надсмотрщиков, пристукивающих костяшками пальцев по столу, мы покорно пишем: «Дорогая мама! Желаю тебе счастья в личной жизни… успехов в труде… мирного неба над головой».

Крупным, как тыквенные семечки, семилетним почерком я вывожу на меловой бумаге государственные, пустые слова. Чужие слова, потому что своих у меня еще нет. Ладони мои покрыты бородавками, – бородавки заразны и перебегают от школьника к школьнику, – скоро весь класс, весь «коллектив», все «дружные ребята» покроются ими, потому что все должны быть как один, потому что так говорит огромная женщина с костяшками, и женщина в синем чехле, со стальными зубами, и слепой ильич, задыхающийся от гладиолусов, – все, все должны быть как один. На спине моей – черный бант в косе… наверно, черный, должен быть черный, как государственная ночь, но я дергаюсь и проверяю испуганно: точно ли? не цветет ли там, сзади, между лопаток, беззаконие и беззащитность? не принесла ли я с собой в эту

коричневую, глухую тюрьму милую домашнюю метку, милый, домашний цветок на поругание и осмеяние? – но и этих слов у меня еще нет, как нет никаких слов, чтобы крикнуть – кому? – об унижении и поругании – каком? чего? – откуда я знаю!

Я подписываюсь: «Твоя дочь Таня». Я думаю без слов, я представляю, как я понесу эту страшную, государственную карточку, эту заразную бородавку в дом, маме, ни о чем не подозревающей маме, как я принесу ей эти неправильные, лживые слова, – без запаха, без поцелуя, без чувства, без невысказанной нежности, без тех снов с сердцебиением, когда она выпускает мою руку и растворяется в толпе, – а я беззвучно кричу ей вслед, – я принесу и поднесу ей эту страшную, бородавчатую, мертвую карточку, и она испуганно уставится на красную восьмерку со стальными государственными зубами… я заражу дом, и мертвая мимоза бородавками расползется по маминым рукам.

…Я иду домой, проходными дворами, мимо почерневших и осевших сугробов, и по Кировскому проспекту, освещенному негаснущей, весенней, желтой зарей, и через мостик, и мимо цыганок, темными тенями стоящими на перекрестках, в сгущающихся сумерках; я не вижу, что они делают, не вижу, что у них в руках, – только запах, – райский, желтый, южный, – веет мне вслед, – мамин запах, мой запах, ничей, свободный, женский, весенний, вечный, невыразимый, без слов.

Я подхожу к дому, высящемуся надо мной серой громадой: окна уже зажглись, хлопья вечерней музыки валятся из форточек, небо охвачено желтым пожаром, смутное чувство томит, и я не знаю, что с ним делать. Я не знаю, что делать с собой, и кто я, и что мне надо думать, и какие бывают слова, и за что наказывают человека, и что ему можно, и что ему нельзя.

В моем ранце – мертвая карточка, чумной билет; мне велели передать его дальше, но почему-то я не хочу, но надо, но я не хочу, но они ждут, но я не хочу. Стая женщин с криком и стуком навалились на меня, стучат в моем мозгу, давят и пихают: передай, передай, пусть она тоже… как мы… И ты тоже… и все… и каждый… никто не уйдет… Желтое небо на влажном западе изнутри наливается тьмой, сгущается, створаживается, горит, не угасая. Что я должна думать? Что? Я сажусь на твердую скамейку, – холод через рейтузы, маленькие боты в почерневшем снегу, ранец комком у ног. Я опускаю голову к коленям, я быстро и коротко плачу, а потом подбираю ранец, подбираю себя, прерывисто вздыхаю, вытираю варежкой лицо и, решившись, шагаю в кошачью тьму парадной.

Мороженое

Поезд «Москва – Питер» еще не тронулся, и коробейники толкали через вагон тележки с товарами: сканворды «Зятек» («расширяет кругозор»), – не соблазнюсь, кругозора хватает. Бутерброды с икрой от Де Бирса (1 икринка – 1 рубль). Не соблазнюсь. Пиво; сушеные кальмары, похожие на ороговевшую кожу с подошв. Не соблазнюсь. За ними шел вкрадчивый человек, приговаривая: «Несравненное мороженое нашего комбината – пломбир "Ленинградский", свежесть исключительная…» Соблазнил.

Я заглянула в короб. – «Знали ли вы, что на улицах продают мороженое вторичной заморозки?» – строго спросил соблазнитель. Я не знала. – «В процессе перевозки оно тает, и его вторично замораживают! Глазурь при этом сдвигается. Между стеночкой стаканчика и сливочным наполнителем образуется зазор! Обратите ваше внимание». Я протянула руку к пломбиру «Ленинградскому»: над ним зримо стояло силовое поле детства, когда цвел шиповник, дул ветер, ярко светило холодное солнце, цыганки торговали «раскидаями» на резинке и крашеным ковылем, и можно было идти прямо посреди улицы, потому что был «первомай», и кто-то из взрослых вел меня за руку во взрослое кафе «Ландыш», где давали мороженое в металлических вазочках. Если дохнуть в вазочку, то в ответ она дохнет волшебным северным запахом сливок, снега, сказок. Полжизни за этот запах.

Шоколадное, земляничное, черносмородинное с красным сиропом из неизвестно чего. Персиковое, коньячное – ну, это не для детей, – ореховое. Крем-брюле, кофейное, с изюмом. Скучное просто-сливочное, а можно мне двойной сироп? Мороженое привозили в металлических цилиндрах, которые, как нам объясняли, быстро крутились на центрифугах в соленой воде для правильного охлаждения, и эти цилиндры иногда протекали, и соль попадала в мороженое, на дно. Но там же, на дне, скапливались особенно щедро изюм, орехи или черносмородинные ягодки, и опытные чревоугодники специально дожидались, когда все мороженое сверху съедят обычные, нетребовательные люди и им, чревоугодникам, достанется самое вкусное, придонное. Но так как в жизни есть справедливость, то им иногда доставалась зато соль.

Ленинградское мороженое – едва ли не единственная вещь на свете, про которую не говорили: да разве сейчас делают как надо, вот раньше делали, вот до войны, вот до революции…

Нет, так никто никогда не говорил, хотя раньше, понятное дело, все было лучше, и солнце и луна, а теперь уж не то. Нет, наше мороженое было лучшее на свете, здесь и сейчас, и никакой балет, никакие белые ночи, которыми так гордились, не шли в счет. Нигде в мире. Только у нас.

Пломбир «Ленинградский» был нехолодным наощупь, вялым. «Женщины обычно предпочитают рожок», – подсказал соблазнитель. Звучало как-то двусмысленно. Старичок рядом со мной зашевелился, покраснел и сказал: «Я тоже, с вашего позволения, предпочту рожок». Мы со старичком купили по рожку и, стесняясь друг друга, быстро съели тающие, капающие трубки. Съели – и съели.

Зря, наверное. Пива надо было взять.

Уничтожение

Был у нас в свое время – глухие совковые годы – знакомый врач, выгнанный из профессии за пьянство. Так что в пору нашего с ним знакомства он торговал на Птичьем рынке рыбками гуппи и песком. Гуппи он выращивал дома, а песок брал в песчаном карьере на местах окраинных строек, – Медведково, Бирюлево, – дома промывал его в семи водах и потом продавал на Птичке стаканами.

Врач-расстрига был мужиком остроумным и веселым, только пил постоянно, и все его рассказы были про то, как пил. А это несколько томов альбомного формата с картинками. Один из рассказов был про то, как он работал наркологом в вытрезвителе.

Менты выслеживали и отлавливали варщика самогона. Вот как сварит новую хорошую порцию (а соседи по коммуналке донесут) – так они его брали под руки и волокли составлять акт в двух экземплярах, немножко помогая идти, но несильно. Вещественное доказательство – бутыль или канистру со свежесваренным – тащили с собой. Нарколог делал экспресс-анализ: да, это оно, Змий Зеленый, крепость такая-то, глядел укоризненно и писал свое веское государственное свидетельство. Тут распишитесь и тут. И еще тут. Самогонщик расписывался.

Потом наступал акт списания, то есть уничтожения. Два милиционера, под наблюдением нарколога, на глазах у горестного самогонщика опрокидывали канистру в раковину. Бль-бль-бль-бль-бль! Хроматическая гамма горького горя! Прекрасный, благоухающий дрожжами, мерцающий вялым перламутром напиток уходил, заворачиваясь по часовой стрелке, в воронку, в канализацию, в черную дыру. Потом выписывали штраф, куда надо ставили печати и отправляли нарушителя с богом – иди, плати и не греши.

Когда за ним закрывалась дверь, – запиралась на замки, закладывалась на засовы: всё, всё, мы закрыты! – из шкафчика под раковиной вытаскивалось заранее припасенное ведро, куда, собственно, слился самогон; младшие чины расстилали газетку, расставляли стаканы и резали хлебушек; кто постарше чином – извлекал из портфеля припасенную рыбку, частик в томате или что сегодня Господь послал; пахло колбасой, хрустели огурчики, жизнь была приветлива, нарядна и нежна.

Душа же поет, когда все и по закону, и с чесночком!

Белый мундир

Мой свекор Валентин Яковлевич Лебедев был артиллеристом. Прошел всю войну, после войны закончил две Академии. В отставку вышел генерал-полковником.

Веселый был, добрый и честный.

Продвигали его по карьерной военной лестнице неохотно. Новое звание давали на несколько лет позже, чем его сверстникам. Во-первых, потому, что в его личном деле было написано: «жена – гречанка». И красным карандашом подчеркнуто. Неча, дескать!

Во-вторых, потому что он не участвовал в сложившейся системе подхалимажа и кумовства. Начальники его крепили свои династии, женили сыновей на соответствующих дочерях начальников других отделов или ведомств, – так сплетался плотный мафиозно-хозяйственный газон; наш же дедушка из принципа никогда ни одной даже открыткой не поздравил своего начальника с днем рождения. Не уважал, вот и считал безнравственным поздравлять, а про то, почему не уважал – не сплетничал. Значит, было за что.

Конечно, его подсиживали; как-то раз он рассказал, смеясь, что на него написали донос: дескать, свою дачу он построил из ворованных материалов. А у него дачи не было! Не знаю уж, почему; там как-то просить надо было, а он просить отказывался. Но доносчики, не представлявшие, как можно жить без дачи, даже не проверили этого, когда сочиняли кляузу.

Очень красивый был, высокий, похожий на итальянца. По-моему, он мундиры не любил, а любил одежду простую и домашнюю: клетчатую рубашку и джинсы. Раз только в год, на 9 мая, надевал парадный белый мундир со всеми орденами – красота нечеловеческая, все махараджи со всеми своими сладкими дамскими брильянтами и бусами погрустнели бы и потускнели, если бы забрели почему-либо в нашу непросторную прихожую. Но он надевал где-то там, в глубине квартиры, в своем кабинете или в спальне, этот белый наряд, и быстро проходил к дверям, и быстро уходил, исчезал, и не хотел сфотографироваться, и не любил наших ахов и восхищенных криков, и лицо у него становилось другое – особое.

В белом мундире он не улыбался.

Он словно бы отделялся от нас, отгораживался этими сверкающими ризами, – особой, жреческой, ритуальной одеждой, надеваемой раз в году и непригодной ни для какого другого употребления, кроме как для этого торжества и сверкания.

Он словно бы выходил в другое измерение, – в то, в котором ему и самому было священно и страшно, в то, где все они, большие и малые, великие и безвестные, живые и похороненные, и пропавшие без следа, и взрослые, и пожилые, и мальчики, мальчики, мальчики, мальчики, мальчики, – все участники великой мистерии Победы, – на один день причислены к олимпийским богам, на один день объявлены бессмертными, на один день вступили в этот белый, слепящий, всех равняющий, огромный и непостижимый свет.

Через несколько часов он возвращался, и мы снова выбегали в прихожую посмотреть, и успевали заметить на нем этот отсвет чего-то огромного, такого, что больше всех нас; только три минуты в году нам и выпадало, – но он быстро скрывался у себя, и сбрасывал там и жреческие ризы, и отрешенность, и выходил через десять минут уже простым и добрым дедушкой Валей, веселым и готовым выпить и закусить, что мы и делали ко взаимному удовольствию, и даже свекровь в этот день не говорила, что водка – вредная, а лучше бы пили лимонад. И он опять рассказывал про какую-то переправу, когда он – двадцати лет ему не было – вплавь перебрался через ночную реку, там где-то, – и командир посмотрел на него и его товарищей, закоченевших от ледяной воды, и налил им водки «Горный дубняк». И он пил в первый раз в жизни, и страшно было пить. И согрелся.

А страшно ли было воевать, он не рассказывал.

А вечером мы набивались в грузовой лифт и ехали, подбирая по дороге других веселых выпивших, на крышу шестнадцатиэтажного дома смотреть салют. Новый был салют, необычный: там вдали, в сторону Арбата если смотреть, в смеркающемся майском небе вспухали сиреневые шары, и в этих шарах вдруг возникало роение, мерцание, сверкание, перебегание серебра; и все, кто смотрел с крыши, гудели: ооооо… а на месте погасшего шара, на пустом, казалось, месте, вдруг вспыхивал новый, тоже сиреневый, и еще, и еще! И зеленый! И по всей Москве слышалось: ооо! ууу!

И дедушка смотрел, и слушал праздничную пальбу, и улыбался, и говорил: «Это тоже наша разработка».

Володя Герасимов

Умер Володя Герасимов, во сне, задохнувшись дымом. Восемьдесят лет ему было.

Последний раз я его, наверно, видела лет тридцать назад.

Мы ходили с ним на экскурсию в Коломну – он зарабатывал тем, что водил людей на питерские экскурсии. Ему все равно было, куда идти, он знал всё. На этот раз пошли в Коломну.

Мама, сестра Катя, сестра Оля, сестра Наташа, еще кто-то, через тридцать лет уже не помнишь лиц, помнишь только промозглую сырость позднего октября, холод сквозь подошвы, эх, надо было сапоги теплые, надо было перчатки. Небо ровно серое, угроза первого снега, но нет, первый снег, как известно, выпадает 7 ноября, чтобы отвратительный день стал еще горше и тоскливей. А сейчас просто простудный, короткий октябрьский день.

У Герасимова лицо темно-желтое, словно загорелое. Но Володя на юг не ездил, это «печеночный загар». Герасимов – алкоголик. Он пьет всегда, пьет с утра понемногу, пьет весь день и никогда не бывает пьяным. «У меня – алкогольная недостаточность», – говорит Володя, останавливаясь у магазина, чтобы взять еще чекушку. Мы терпеливо и скорбно ждем его в сторонке. Вот ведь, так хорошо начали нашу прогулку, а он купил бутылку и пьет из нее – а если он свалится, что мы будем делать?

В скверах, которые мы пересекаем, сторонясь растоптанной, еще жидкой грязи, – уже не лужа, но еще не лед – иногда под ракитами и барбарисами, под голыми их прутьями и ветвями спят пьяницы. На них заскорузлые брюки и страшненькие ботинки, а лиц не видно: укладываясь под кусток, они закрывают лица шапками, так уютнее. Что, если и Герасимов так уляжется?

Но Герасимова алкоголь не берет. Куда-то он не туда идет, алкоголь: Герасимову тепло и хорошо, голова его все такая же ясная, он движется так же ровно и медленно, и так же ровно, спокойно и не повышая голоса рассказывает, рассказывает, рассказывает про все дома, мимо которых мы проходим: тут жил генерал-аншеф такой-то, и было с ним то-то и то-то, а во время революции он бежал, и в его квартире, ставшей коммунальной, поселился Володин приятель – ну, скажем, Петров, и захотел этот Петров наладить и прочистить печку-голландку, сунул руку в дымоход и извлек пачку прекрасно сохранившихся керенок; но мы уже идем мимо следующего дома, и генерал-аншеф перетекает в знаменитого юриста, и Герасимов рассказывает

про юриста, и про его квартиру, и про то, как закончилась его блестящая жизнь, а вот в этом доме жила Дельмас, и Блок ждал внизу, когда она спустится; мы жадно смотрим на парадную, загаженную десятилетиями бедности и пролетарского равнодушия. Мы и сами живем в таких парадных, но наши обычные, а эта – таинственная, наши простые, а тут жила Кармен, здесь было «окно, горящее не от одной зари», и сердце захлестывает чужое, давно испарившееся чувство.

И этот мир тебе – лишь красный облик дыма,
Где что-то жжет, поет, тревожит и горит!

Каждый рассказ Герасимова – волшебный, каждый эпизод – литературно-историческая миниатюра. Герасимов знает всё. Всё. У него «зеркальная память», энциклопедические знания, умение рассказывать коротко и ёмко. Сергей Довлатов описывает его в своем «Заповеднике» под именем Митрофанова: «Бог одарил его неутолимой жаждой знаний. В нем сочетались безграничная любознательность и феноменальная память. Его ожидала блестящая научная карьера. Митрофанова интересовало все: биология, география, теория поля, чревовещание, филателия, супрематизм, основы дрессировки… Он прочитывал три серьезных книги в день… Триумфально кончил школу, легко поступил на филфак… Этими качествами натура Митрофанова целиком и полностью исчерпывалась. Другими качествами Митрофанов не обладал. Он родился гением чистого познания… Митрофанов вырос фантастическим лентяем, если можно назвать лентяем человека, прочитавшего десять тысяч книг. Митрофанов не умывался, не брился, не посещал ленинских субботников. Не возвращал долгов и не зашнуровывал ботинок. Надевать кепку он ленился. Он просто клал ее на голову».

Герасимов-Митрофанов – человек-губка, он впитывает всемирные знания низачем, просто так. У него четыре пропуска в Публичную библиотеку, и все поддельные. Ему надо знать, и знания его не переполняют. С ним невозможно играть в викторины, ему нельзя участвовать в телепередаче «Что? Где? Когда?», потому что Герасимов знает и что, и где, и когда. «А что в этом доме, Володя? Почему вы его пропустили?» – «Ай, там ничего интересного. Построен в таком-то году, владельцем был такой-то, после 17-го года на втором этаже располагалось то-то, свернем вот сюда…»

Холодно, лицо мерзнет. Ветер несильный, но противный, скоро сумерки. Герасимов останавливается на углу, деликатно пристраивается под сенью водосточной трубы, достает свою

чекушку, выпивает. Нам – маме, сестре Кате, сестре Оле, сестре Наташе, мне и еще кому-то, чьи лица стерты временем, тоже хочется выпить, но это как-то неудобно, прямо на улице, это как-то неправильно, да и закусить ведь нечем? Сестра Катя узнает в прохожем какого-то своего знакомого, кидается к нему: давно не видела! Они болтают, Герасимов деликатно пережидает. Нам перед Володей неудобно, мы говорим: она сейчас, она быстро. Старый знакомый, а она ведь в Москве живет, не в Питере…

«Да, это Митя Квасов, сын Раисы Львовны Берг, – ровно и неспешно, словно читая по книге, говорит Герасимов. – Раиса Львовна в таком-то году…»

Нет такого на свете, чего бы не знал Володя Герасимов! Восемнадцатый век, девятнадцатый, двадцатый. Античность? – легко. Год за годом, человек за человеком, лицо за лицом, – время раскрывается как коробочка, как сложная конструкция из вееров и ставен, как бесконечная анфилада нескончаемых дверей. Мы пригвождены и заколдованы, вот только ноги, кажется, отвалятся от холода. Темно. Мы устали. Только Герасимов ровно бодр, невидимо пьян, любезен, неутомим, и еще немного пожелтел. Мы бредем по набережной Фонтанки к Герасимову домой, где нас ждет, за накрытым столом, терпеливая Володина жена.

Герасимов живет в квартире, когда-то принадлежавшей барону Корфу. Теперь это коммуналка, из которой почти все уже выехали, очереди ждет и Герасимов. Большая, темная, странная, с толстенными стенами. Снаряд такие стены не пробьет – он и не пробил, когда тут бомбили. По мере того, как выезжают другие жильцы и освобождаются их комнаты, Герасимов забирается в их брошенные комнаты и простукивает стены, он уверен, что найдет клад, он уверен, что должна быть потайная комната, чулан ли какой или подсобка, или просто ниша; вот недавно в Питере нашли целую комнату, замурованную сразу после революции, а в ней и одежда, и еда – шоколад и шпроты, и театральные программки. Должен быть живой и тайный ход в прошлое.

На столе – горячая вареная картошка с укропом, миска соленых груздей, сметана, огурцы и новая бутылка водки – теперь и мы выпьем, как люди, тем более, что и мы захватили поллитру с собой, таскали ее по холоду всю дорогу. Мы веселимся, радуемся, чокаемся, ахаем – какая квартира и как тут жил Корф, восхищаемся и пьем, и все еще живы: и мама, и сестра Катя, и сестра Оля, и сестра Наташа.

Желтые обои, неяркий свет, смех и табачный дым. Дым, дым.

И все живые. Пусть так все и останется, пусть вечно так и будет. Там и тогда.

Смутное время

Частная годовщина

Человеческая память на удивление коротка, плохое быстро забывается, «у каждой эпохи свои подрастают леса», и тем не менее: никаких нет оснований взять да и не отметить юбилей, пусть даже и некруглый, а просто годовщину, – чего-нибудь такого незначительного, быстро миновавшего, а все же бывшего ведь, существовавшего когда-то, казавшегося значительным и тревожным. Например, шестую годовщину голодной зимы, пустого декабря 1991 года.

В декабре 1991 года, помню, мучительно хотелось есть. Состояние для столичных жителей непривычное, для ленинградцев отозвавшееся блокадными воспоминаниями. Все как всегда – огни и снег, под ногами скрипит; и новогодние елки – пожалте, на здоровье, и телевидение еще исполнено остроумия, и смелости, и даже душевного человеческого трепета, – еще не вылупился из коммерческого яйца Лев Новоженов со товарищи, еще не приучил толпу наслаждаться изысканным остроумием, с которым презентуются раздавленные и оплеванные, униженные и оскорбленные. Все еще как бы гуманно, – но есть уже нечего. В ларьках – пластмассовые изделия в изобилии, мужские вибраторы, кушаки и сумочки, оранжерейные или же южные – неизвестно – цветы, шнурки почему-то, даже финский стиральный порошок – подумать только, – но не порошком единым; а вот есть очень-очень хочется. И, странное дело, не два или там три раза в день, а постоянно, раз четырнадцать. И даже те, у кого, по слову известной стихотворной шарады:

Мой ПЕРВЫЙ слог швартует корабли,
ВТОРОЙ – изобразил собор Руанский,
А в ЦЕЛОМ – у кого одни рубли,
А у кого – доллар американский, –

те, у кого в портмоне доллар, – тоже хотят есть, ибо «березки» заколочены сырой березовой планкой крест-накрест, и ничего органического не купишь ни на иены, ни на воны. Падал в декабре 1991-го густой снег, засыпая, заметая все тропки к бывшим магазинам, словно они и не нужны больше, – живите так как-нибудь, святым духом. Мои родственники решили надышаться перед голодной смертью свежим снежным воздухом в Доме Писателей, не в том, позднее сгоревшем, на Неве,

где в ресторане некогда подавали котлету «Творческая», а в сельском, уютном, на Финском заливе, в Комарове. Говорили, что там кормят три раза в день, это решило дело. И, одев малых детей в ушанки, мы выехали в Комарово в ледяных поездах, где на окнах, украшенных пальмовой изморозью, оптимистическая молодежь пригородов процарапала простые наименования органов размножения.

Отпразднуем, право, годовщину голодного года! Никто не умер, насколько я знаю, – то есть никто из моих знакомых не умер. Были голодные обмороки, но больше от гордости и вегето-сосудистой дистонии. Хорошо там было, в Комарове, топили в Доме так, что вздувались полы в вонючих общественных ванных, коробило паркет в общественных коридорах, по которым тоже гулял теплый сортирно-хлорный ветерок, пересыхали алоэ-каланхоэ в рябоватых кастрюлях на подоконниках, где заоконный пейзаж с падающим снегом дрожал от волн теплого воздуха. Несколько писателей бродили, шаркая привезенными тапками, по горячим зловонным коридорам, делились творческими планами. В столовой, о которой думалось постоянно, как солдату – известно о чем, на обед подавали ложку сахарного песку на писателя, пол-ложки – на членов семьи. Буфетчицы у писателей были злые, и на того, кто спрашивал, нельзя ли добавки, – ибо ветеран, и жена парализована, и малые детушки, – на того кричали и стыдили.

Строго, сдержанно выходила писательская семья за стол, расправляла салфетки на коленях, локти держала ниже уровня стола, медленно, ложкой ела куб холодной манной каши, облитый калорийным сгущенным молоком из готовой отпасть Риги. Иногда в кубе случался изюм, тогда соседи деликатно опускали глаза. Тарелки оставляли чистыми, словно прочесанными частым гребнем, но эксцессов не было: никто ничего не вылизывал, не было ни криков, ни скандалов, дети не капризничали, сидели торжественно, как на поминках. В углу, за дальним столом, сидели очень бледные, как мука, отец с четырнадцатилетним сыном, в одинаковых черных водолазках. Иногда они одновременно и внезапно поднимали глаза и быстро, остро взглядывали в зал, – и снова опускали черные, тусклые взоры. Непонятно было, в каком литературном жанре они работают.

Мои дети, у которых в кармане был-таки бесполезный в эту метельную зиму «доллар американский», завели разговор с черно-мучным сыном. Тот был односложен, уклончив. Его отец смотрел, отвернувшись, в окно на сугробы. На беседы о Жюль Верне и Толкиене сын не шевельнулся, как не оживляются

при жужжании холодильника. Дети коварно дали понять, что у них есть доллар. Оба – папа и дитя – быстро ожили: папа зажег в глазах ласковые, как у завуча, огни; у сына проступило вдохновенное лицо, словно у Огарева на Воробьевых горах. «Это интересно, – одобрил папа. – Сколько?» – «Один». – «Еще сделать можешь?» – шепнул папа. «Мы – фарцовщики», – очень тихо поделился сын. «Мы спросим», – сказали мои дети. – «Очень обяжешь, дружок. Есть интересные предложения», – тепло напутствовал отец.

Мои дети вернулись к столу, где мы собирали хлеб в полиэтиленовые мешки, чтобы есть его ночью. «Знаете, там – воры, они хотят долларов», – сказали дети. Что делают воры в Доме Писателей? – подумала я, а потом опять подумала, и не удивилась. Мои дети обманули папу с сыном, не заключили с ними выгодных сделок, и еще два дня я смотрела, как они сидят там в ожидании, бледные, черные, в углу, с лицами зверей, почуявших весну, а потом они куда-то пропали.

Телефоны работали, и мы узнали, позвонив по телефону, что в Репине, в Доме Композиторов, за деньги можно купить теплые щи. До Репина было далеко, и мела метель. Среди нас были старые люди, до Репина им было не добрести. Но у писателей были финские сани – вроде стула на полозьях, и мы посадили наших старых людей на сани, и встали сзади на полозья, и, отталкиваясь ногой, проехали несколько километров по улицам этого снежного поселка, среди занесенных сугробами, вымерших академических дач, и потом с горы – вихрем, к заливу, и потом вдоль замерзшего залива, туда, где светились приветливые огни, туда, где сохранились чудесные продажные буфетчицы, согласные дать разбавленного супу чужакам из соседнего творческого союза.

Потом эти прекрасные женщины дали нам растворимого кофе того типа, что вызывает некроз кишок, но нам было хорошо и тепло, и сила духа победила некроз, и ничего плохого с нами не случилось. И еще они продали нашим старым людям коробку шоколадных конфет по цене алмаза «Кохинор», и подсели к нам за стол, и рассказали про своих несчастных дочерей и подлых зятьев, и про то, какие чудесные, творческие люди гостили у них в Доме, и про то, как талантливые композиторы всегда просят отдельные коттеджи, и вешают на стену ковры и подушки, а менее талантливые композиторы выходят в мороз к этим отдельным коттеджам и, приложив ухо к стене, подслушивают творческий процесс талантливых, чтобы списать у них музыку и выдать за свою, но талантливые настороже, да и стена вся в подушках, и ничего неталантливым не достается, но они тоже

люди и тоже хотят теплого супу. И пусть они едят суп, если хотят.

И пусть они едят, они тоже люди! Отметим же чем-нибудь некруглую годовщину декабря 1991 года, дадим кому-нибудь то, чего ему давать не полагается! Мы вернулись в Ленинград, а тут и мой отец приехал из Москвы с добычей: делегатам Российского парламента выдавали по шесть таблеток аспирина, но он встал в очередь два раза, и ему дали двенадцать, сделали вид, что не заметили, как он схитрил.

Кто как, а я свои годовщины отмечу: день, когда отец вернулся домой в 1991 году и плакал. Он купил в буфете пирожков и гордо собрался нести добычу домой, когда старая дама, его ровесница, робко бредшая мимо, спросила его: … пирожки что, по пять копеек?.. – «Нет, по двенадцать», – отвечал отец. – «О, – сказала дама с сожалением, – это я не могу себе позволить». – И он сунул ей кулек в руки, и бежал прочь, старый человек, не оборачиваясь, – от этого Достоевского стыда и ужаса, от того, что не мог не сунуть ей кулек; оттого, что знал, каково ей с этим кульком в руках там остаться; оттого, что ничем ничего не поправишь и ни перед кем не оправдаешься.

Отмечу и 24 декабря 1991 года, католическое Рождество, когда вечером в дверь позвонил человек из Еврейского общества и втолкнул ногами и руками огромный, по пояс, ящик гуманитарной помощи, – нам, никаким не евреям, никаким не католикам, а просто голодным людям. В ящике была еда, много. Человек поздравил нас неизвестно с чем, извинился неизвестно почему и ушел. Мы, десять человек, не зная, что бы такого особенного сказать, смотрели, как он ехал вниз на лифте, из шахты дуло холодом.

Мы вскрыли ящик – там была немецкая мука, арабские макароны, какая-то международная кокосовая маниока, – не мы ведь одни хотели есть, за нами, на восток, до Тихого океана, простиралось еще шесть тысяч верст заснеженного пространства. Растроганно помолчали, и я не буду говорить, о чем думали. «Ну что, может, перейдем в иудаизм?» – попробовал пошутить отец.

Но в этом, право, не было никакой необходимости.

Яблоки считать цитрусовыми

Рождественский подарок, плод коллективной мысли ленинградского руководства: «визитные карты». Какой-нибудь наивный иностранец может подумать, что и впрямь «визитные»; что ленинградец, представившись новому знакомому, вытащит эдак из кармашка изящную бумажку с виньетками и подаст: вот, дескать, нате вам мой адресок, телефончик, – пишите, звоните, не забывайте!.. Не-ет, это у вас, господа хорошие, такое легкомыслие, а наша «карта» посерьезней вашей будет. Это будет не карта, а целое досье. Фотография. Адрес. Прописка. Штампы. И уж нашу-то карту мы никому без боя не отдадим, хотя бои предвидим. А называться она будет «визитной», потому что это звучит комильфо, а кроме того, с ее помощью будут осуществляться визиты в магазины. Не просто пошел-купил, по-простецки, как неотесанный дикарь какой, а нанес визит. Бонжур, мсье, свиных костей не завозили? нет? Пардон. Аншанте де ву вуар.

Ибо без визитной карты, господа, не будет теперь истинного петербуржца. Отныне Северная Венеция, стремительно погружаясь в фекалии, удерживаемые на плаву дамбою, с достоинством будет распахивать торговые залы перед новой региональной аристократией. А всяких там провинциальных скобарей – вон. Ведь как сообщил нам Вадим Медведев (нет, не тот, а другой, из «600 секунд»), в Колыбели трех революций даже свиней кормят печеньем. Вадим попробовал – вкусно. Теперь, может, и людям дадут?

А вот мне не дадут, я – иногородняя. 10 января я в последний раз ела на своей малой родине на законных основаниях. На другой день я со своими детьми уже была вне закона. Конечно, свет не без добрых людей: мама, папа, братья-сестры. Сплотились и накормили. Но уже в гости идти – это какую ж совесть иметь надо? Более того: ели мы мамину еду. И папа тоже ел мамину еду. Потому что свою еду он, по новому закону, обязан купить по своему паспорту. Лично. А я, например, уже не имею права взять папин паспорт и купить ему того-сего. Увидят мужскую фотографию и закричат: «Эт-то что такое?!» Так что есть захочет – ничего, доползет! Сам! Ножками-ножками!..

Конечно, если кто заболел – грипп там или что – такому Смольный кушать не разрешает. Тем более всякие там парализованные, или инвалиды, или старички, ровесники века – это нет. Никак. Зато они могут разглядывать визитные карты и размышлять о преимуществах социализма и о том, что своих

завоеваний мы никому не отдадим: ни новгородцам, ни псковитянам, ни зловредному ливонскому ордену. И модные нынче духовность и соборность у этих категорий неизмеримо возрастут. Их теперь даже отпоют по церковному обряду.

Опять же: какие конфузы, бывало, случались с петербургскими дамами до введения визиток! Скажем, одна дама – назову ее Светланой – пришла в гастроном, на вечернюю тягу, и, зная повадки продуктов – появляются они всегда неожиданно и очень пугливы, – затаилась и ждет. Вдруг – фрррр! – вылетают из подсобки расфасованные продукты и – в корзину. Ну, Светлана и еще с полсотни охотников, естественно, рванулись в общую свалку: кто быстрей!.. Светлана помоложе других, хвать! – и поймала что-то в кулак, а что – не знает. Руку выдернуть из корзины не может – зажали намертво. То ли, думает, сыр достался, то ли масло? А то, – размечталась, – колбаску держу, грамм триста? И пока она так гадала, уносясь на крыльях сладостной мечты, кто-то там, в сопящей толпе, насильственно разжал Светлане пальцы и высвободил пойманное нечто из ее руки. Отнял. «И вот я все думаю, – рассказывала Светлана, – что же это было: сыр или все-таки масло?»

Но, надо сказать, что, даже видя, что дают (или не дают), все же нельзя быть уверенным, что органы зрения тебя не обманывают. Другая дама стояла 11 января в очереди, забыв с непривычки паспорт дома. А плакат извещал: «Цитрусовые – только по паспорту». Что ж, – думала дама, – куплю яблок, что ли? Не тут-то было. Отказ. «Только что получена телефонограмма, – сказала продавщица, – яблоки считать цитрусовыми».

Чем же угостит Колыбель заезжего человека? Утопая в желтом питерском снегу, я брела от ларька к ларьку, от магазина к магазину. Кооперативная греча по два шестьдесят – будь я мышь, конечно, купила бы и погрызла. Сигареты – по паспорту. (Эх, Минздрав, Минздрав! Что ж ты не предупредил?..) Кушаки пластмассовые и сумочки женские кошмарные мне есть не хотелось. А вот полезная вещь – массажер мужской кооперативный. Это, не сказать худого слова, такая штука, которая, случись надобность, может заменить женщину. Интересная новинка. Актуальная. Если теперь женщине суждено стоять в очередях до посинения, отоваривая визитные карты, муж ведь может и соскучиться. А так глядишь – и время скоротал. Правда, дорого, зато без сносу!.. И повсюду торговали масками скелетов и красными партийными гвоздиками, теми самыми, про которые искусство застоя сложило песню: «Красная гвоздика – спутница тревог; красная гвоздика – наш цветок».

Вот в спутницах тревог недостатка почему-то не было.

Помнится, был такой доктор Хайдер. Он сидел перед Белым домом в Вашингтоне и, против чего-то протестуя, не ел. День не ел, месяц не ел, второй, третий… Советские газеты страшно волновались: пошел сто восемьдесят восьмой день голодовки!.. Двести пятнадцатый!.. Посидев так что-то около двухсот сорока дней, Хайдер встал и ушел. Наши остряки говорили: «Хайдер был. Хайдер есть. Хайдер будет есть».

Он-то будет. А мы?

Ряженые

Голландским документалистам наврали, что в Москве плюс три, и они приехали с босыми головами. «Дай хоть что-нибудь прикрыться», – просили Виллем и Роб. Но у меня нашлась на двоих лишь одна детская шапка из зайца, который, боюсь, при жизни был котом. Они с завистью смотрели на теплое ложно-тибетское сооружение на моей голове: овца под лису, с хвостом метровой длины. Мороз был – восемнадцать градусов, и, как ему и положено, крепчал. Отбиваясь локтями от торговцев матрешками, голландцы купили себе ушанки из синтетического барана. У них было три съемочных дня, сюжет – Красная площадь; естественно, их интересовала не архитектура, а символ, иначе какой же это фильм. Им вообще нужны были площади мира, темечки городов, солнечные сплетения, акупунктурные точки: в одном таком месте не происходило ну ровным счетом ничего, кроме кормления голубей, в другом – в Латинской Америке, я полагаю, – человек наблюдал из своего окна семь государственных переворотов за десять лет. Моя задача была ходить взад-вперед, приставать к людям с разговорами и смотреть, что будет.

Мне досталось воскресенье: минус двадцать два, с кинжальным ветром, с бесполезным и прекрасным солнцем; на свежеотстроенных Воскресенских воротах вспыхивали золотые орлы-новоделы и прожигали глаза сквозь линзы слез. Мы стояли на краю Манежной площади. «Ну, начнем! – сказал Роб. – Ты идешь от этого угла к тому. Останавливаешься и ЕСТЕСТВЕННЫМ голосом говоришь: Красная площадь также значит “красивая”. Это и впрямь красивая площадь. Но что таится под этими камнями?.. Пошла!» Я пошла. «Нет, нет! Не верю! Снова! Ты идешь неестественно, это заметно по спине!» Я пошла естественно. «Опять не так! – кричал Роб. – Еще раз!»

Да, как же, пойдешь тут естественно, – в злобе думала я, косясь на просторы Диснейленда, раскинувшегося под морозным солнцем: на зурабовскую Анапу с медведями, на женские ноги коня, оседланного маршалом Жуковым, на свеженькую Иверскую часовню, похожую на пятигорский киоск над лечебным источником. Не Москва, а Минводы, толкучка, вселенская барахолка, а что там таится под Красной площадью и окрестностями – черт его знает. Тоже какие-нибудь торговые залы, лабиринты, бутики, запчасти к Ильичу… «Эй! – крикнул Роб. – Что это там?» На площади Революции, на крыльце музея Ленина развевались красные знамена, и мы радостно бросились

к восставшим массам.

Под блузами – коммунисты

Массы радостно бросились к нам. «Откуда, товарищи?» – «Из Голландии!» – «Коммунисты, да? Долой мировой капитал! С красным флагом – к победе пролетариата!» – наперебой кричали заждавшиеся диссиденты. «Вы – голландские коммунисты», – объяснила я Робу и Виллему, они не моргнув глазом согласились. «Как зовут секретаря голландской компартии?» – волновалась симпатичная бабушка с гноящимся глазом. – «А вас можно снимать?..» – «Да! Да! Сюда, товарищи! Нет – акулам капитала! Петрович, сюда! Снимают! Под красное знамя, товарищи! Сами-то откуда будете? Голландцы? Родненькие вы мои! Держите знамя! А по телевизору покажут?»

Нам с Робом сунули в руки крепкие древки, и, окутанные алым кумачом, в позе рабочего и колхозницы, мы символически попрали гидру капитализма, Сороса, Ельцина – фашиста клыкастого, и предателей-зюгановцев, потому что митинговали мы с кристально чистыми анпиловцами. «Я – медик, я этому знамени клятву давала!» – волновалась гнойная бабушка. «Так если медик, вы же должны были Гиппократу?..» – провоцировала я, но бабушка была выше и чище гиппократов-дерьмократов. «Ты с нами, дочка! – напирала бабушка. – Двадцать третьего февраля пройдем от Белорусского вокзала по главной улице! Сам товарищ Анпилов поведет народ!»

Сбоку, конкурируя со старушкой, широколицый мужик кричал, словно в мегафон, что Сорос, несмотря на все свои миллионы, не может напечататься ни в одной газете, а это означает близкий конец капитализма. Другой осенял голландцев рукодельным плакатом, на котором Вишневская с Ростроповичем, нависая над виолончелью, похожей на дуршлаг, отбирали золото у пролетариата, изображая мецената (это рифма). Рядом коробейник собирал деньги на народное телевидение – чтоб без рейтингов, – а на верхней ступени крыльца приятный с виду коммунист держал на жердочке портрет Сталина могильного размера. «Холодно вам?» – спросил Роб. «Холодно вам?» – перевела я. – «В самый раз для русского человека!» – наперебой закричали коммунисты. «Восьмой год мы тут собираемся, каждое воскресенье. Тебя как звать-то?» – допрашивала полюбившая меня старушка-вострушка. Я призадумалась. «Пусть ты будешь Анастасией или Аленушкой, – бабушка-медик помахала надо мной красным флагом. – Хочется верить! Я вот, когда меня спрашивают, зову себя Анастасией, и пусть американцы трепещут!»

Но тут ее позвали строиться. Сформировав аккуратную людскую грядочку, анпиловцы подняли знамена и направились к мавзолею, только что принятый в ряды компартии Виллем побежал было за ними, но милиционер ударил кулаком по его камере, впечатав ему в глаз промороженные очки, и вернулся Виллем совсем не коммунистом. Мы стояли и долго смотрели, как уходят под землю озаренные идеей старики, как погружаются в могилу красные флаги.

Интерлюдия

«Так, все это прекрасно, но мы отвлеклись, – сказал Роб. – Идем на Красную площадь. Ты останавливаешься и ЕСТЕСТВЕННЫМ голосом говоришь: Красная площадь также значит “красивая”. Это и впрямь красивая площадь. Но что таится под этими камнями?..» Но тут стали садиться батарейки, и Роб побежал в гостиницу за новыми, а мы с Виллемом помчались греться в Казанский храм, что недавно возвели на месте общественной уборной. Тут нам повезло: не успели войти, как двери распахнулись, и в церковь прямо с мороза вплыла высокая невеста, вся в атласе, кружевах и кисее, с голой спиной, голыми руками, голыми ногами – верная кандидатка на воспаление легких и придатков. С ней был небольшой жених, по моим расчетам он должен был прожить чуть дольше. Виллем забежал через боковой вход и притворился членом семьи: те тоже вовсю снимали церемонию на камеру. Впрочем, похож он на них не был, – в синтетической ушанке, с интеллигентным лицом он опасно выделялся в толпе. Жених гневно сверлил его взглядом, – он точно помнил, что не оплачивал услуги самозванца. Но отойти от невесты и сделать Виллему кыш он не решался, семья же, полагавшая, что это жених раскошелился на такую большую камеру, посматривала одобрительно. «Не обещался ли другой невесте?» – спрашивал поп. – «Н-нет», – припоминал жених. Прибежал Роб, но на Красную площадь нам опять не было суждено попасть: по дороге Роб увидел ребенка-попрошайку, чудно игравшего на аккордеоне, и я должна была естественно и непринужденно подойти к малышу и расспросить о житье-бытье.

Виновата ли я?

Согнувшись, спотыкаясь, прикрыв лица, мы побрели, как экспедиция Пири к Северному полюсу. Мальчик сидел на углу гостиницы «Москва», на самом ветру. Он был крошечный, с веселым личиком. Сажа и сопли образовали на личике черную корку. Одна ручка была в перчатке, другая – без. Безграмотно, но бойко он наяривал «Беса ме мучо» с вариациями. Мелодия плавно переходила в «Виновата ли я» и обратно.

«Как тебя зовут, мальчик?» – непринужденно и естественно спросила я. – «Ваня». – «Не так. Еще раз», – сказал Роб. Пятясь, я отошла на десять метров и снова подошла. «Как тебя зовут, мальчик?» – «Ваня». – «Еще раз попробуй. Подойди, остановись, с легкой улыбкой послушай музыку и потом спрашивай. Пошла!» – Я опять попятилась и снова непринужденно подошла: «…как тебя зовут, мальчик?» – «Деньги давай», – сказал Ваня с отвращением. – «Дам, когда ответишь, – прошипела я с легкой улыбкой. – Как тебя зовут, мальчик?» – «Я уже сказал». – «Деньги нужны», – сказала я Робу. Роб дал двадцатку. «Как тебя зовут, мальчик?» – «Ваня». – «Сколько тебе лет?» – «Семь». – «Спроси его, где его родители, где он живет». – Я спросила. Ваня немедленно подхватил аккордеон и сумку с деньгами и боком, как краб, двинулся прочь. «Стой! – завопила я и помчалась за младенцем. – Вернись! Мы тебе денег дадим!» Ваня побежал. Мы тоже побежали. За нами бежала румяная сумасшедшая старуха с четырьмя сумками мусора – две в руках, две – коромыслом через плечо, и кричала: «Ельцин бандит сама с Украины письмо мне Жириновский написал сыночка единственного убили нет правды в Кремль в Думу не пускают!!!» Мы преследовали Ваню – до угла, и за угол, и в боковую стеклянную дверь. За дверью на полу лежала замурзанная молдавская семья – две женщины с двумя грудными младенцами, еще один мальчик Ваниного возраста, тут же выбежавший, не теряя времени, на заработки, и сам Ваня. Голландцы охнули. Мне молдавская семья не понравилась. «Откуда вы?» – непринужденно и естественно спросила я, как если бы мы встретились на светском рауте. «Деньги давайте – скажем». – «Деньги!» – сказала я Робу. «Будут говорить – дам», – отвечал он. Он тоже был тертый калач, снимал по всему миру. «Он даст, говорите». – «Беженцы мы, из Бендер, – запричитали бабы. – Война была, все погорело, куда подашься… Добрые люди вот приютили, дают греться, а так совсем пропали бы… Вот только мальчонкой и спасаемся… Сами в лесу ночуем, на пленке… Расстелим и спим, совсем пропадаем…

Четвертый год на пленке живем, прямо на снегу… Кто жалеет – чаю дает…»

Бригада выглядела сытой, тепло укутанной, лица их были продуманно испачканы, рожденные на пленке младенцы выглядели одинаково, словно выданные напрокат. «А почему вы лежите именно тут?» – «Да мы не местные… Куда ж нам еще?» Куда ж еще идти солдату, когда сожгли родную хату? Я огляделась – пункт обмена валюты, дорогой винный магазин, дверь с надписью: «Вход на смотровую площадку – 15 этаж». Полы мраморные. Самый центр Москвы, самое доходное место… Тут и Ваняткин чумазый напарник вернулся, принес еще сумочку денег. Обе матери, переведя выражения лиц из скорбного режима в постный, махнули руками, и деньги как-то сами растворились в воздухе. «Вы идите, а то тут… рассердятся», – сказала молдаванка. «Да вообще: давайте еще деньги, что такое», – ворчливо сказала вторая. «Ельцин бандит украинка я доченьку единственную убили злые люди Жириновский защитил депутаты проклятые сами жрут от меня в Думе запираются!!!» – закричала настигшая нас сумасшедшая.

Снова выбежал на мороз Ванятка, снова мы бросились за ним. «Виновата ли я!» – бегали по кнопкам маленькие грязные пальчики, сияло над аккордеоном веселое лживое личико, сыпались бумажные деньги в разверстую сумочку – меньше двух миллионов в день малыш вряд ли зарабатывал. «А ну говори: где ты ночуешь?» – сделала я последнюю бессмысленную попытку. – «Они же вам сказали». – «Кто – они?» – «Ну, они». – «А ты что скажешь?» Он улыбнулся, пожал плечами и заиграл сильней.

«La donna e mobile!» – вдруг рявкнул над ухом Ваняткин неизвестно откуда взявшийся конкурент, старик с тремя желтыми, очень длинными зубами, с полноценным взрослым аккордеоном, с иерихонскими мощностями в привыкшем к морозу голосе. «Ельцин бандит сама с Украины развалили страну сволочи восемь деточек родила все погибли Жириновский письмо помог!!!» – настигла нас сумасшедшая. Я чувствовала, что мое лицо от мороза приобретает цветовую гамму российского флага. «Не могу больше, пойдем греться, – сказала я Робу. – Пошли под землю, к Ленину». И мы спустились к Ленину.

Я себя под Лениным чищу

Лениных, собственно, было двое: один покрупнее, плакатно-красивый, другой – мелкий, щуплый, с отработанным прищуром. В компании с ними работали Ельцин, все время загибающий два лишних пальца, и Горбачев, больше похожий на Берию. В нескольких метрах от лидеров женщина в мохеровой шапке торговала дипломами о высшем образовании.

«С вами побеседовать можно, Владимиры Ильичи?» – спросила я. – «По двадцатке ему и мне», – бойко отозвался красавец вождь мирового пролетариата и, вскочив на скамейку, зычно крикнул: «В пионеры, комсомольцы принимаю!» – «Скамейка-то ваша?» – «С собой ношу». – «Как там ваша Наденька?» – «Чудно». – «Как Инесса Арманд?» – «Прекрасно». – «Как революционная ситуация, на ваш взгляд?» – «Коммунизм во всем мире – неизбежен», – учтиво ответил Ильич и отбежал фотографироваться.

Я ринулась за ним, меня оттолкнул Горбачев: «Отойдите, вы же мешаете!.. Люди деньги платили!..» – «Я тоже платила!» – «Она платила, – успокоил покойник корыстного Горбачева. – … Коммунизм неизбежен, – повторил Ильич, – и я, знаете, в это верю, – вам это покажется странным, но я говорю совершенно искренне. Мой отец тоже был коммунист… – он опять отбежал, сфотографировался и продолжал, – …и я унаследовал веру, знаете, в светлое будущее человечества, и мой патриотизм, так сказать, с годами только растет и сейчас практически объемлет весь глобус, можете называть это космополитизмом… – он отбежал, приветствовал толпу, сфотографировался и вернулся, – …можете называть космополитизмом… – Он проследил за моим взглядом. – Да, я понимаю, что вас это смущает – деньги – но поверьте, я себе говорю так: давая мне деньги, люди дают на все хорошее, светлое, понимаете? В этом я вижу высший смысл…» – «Много дают-то?» – «Делиться приходится…» – «Ну все-таки?» – «Две квартиры построил… – потупился Владимир Ильич. – Одна на Урале, одна в Москве…» – «А как вам тот, второй, не мешает?» В уголку, руки глубоко в карманах, щурился щуплый злой ильичок. «М-м-м… Сначала, конечно, я был недоволен… Но потом разделили сферы влияния… Он человек сложный. Пьет, знаете. Часто в отключке. Вот вчера на свадьбе пьянствовал, сегодня все падает…»

«Владимир Ильич!» – крикнул обеспокоенный Горбачев. Ленин побежал фотографироваться. Я подошла ко второму Ильичу, прищуренному. «Чего?!» – злобно спросил он. – «Хочу

поговорить о мировой революции». – «Ага. А ничего я вам говорить не буду. Я настоящий! А он – клоун. Позорит…» От мелкого Ленина пахло плохим одеколоном. Из жилетного кармашка свешивалась детская золотая цепь, на пальце блестело стекло в двадцать пять карат. Галстуки у обоих были, кстати, одинаковые – черные в белый горошек, стиль британского парламента. «Чем же он вас позорит?» – «Не меня, Ленина позорит. Я верю, а он… Сволочь он, его и с Арбата выгнали, а вы его слушаете… А я за идеи сидел!» – «Вы вчера на свадьбе наклюкались», – грубо напомнила я. – «Ну и что? Я сахаровец! Я за сахаровские идеи сидел!» – «Сколько сидели?» – «Неважно!» – «Когда?» – «Неважно!» – «Где?» – «Неважно!!! Меня все знают! Меня даже бандиты приглашают, вот так вот!» Я стала совать ему голландские деньги. «Не надо мне ваших денег! Я за идею!..»

Тут снова освободился первый Ленин, и я оставила идейного сахаровца безо всякого сожаления. «А давно ли вы, – вернулась я к разговору, – и почему?..» – «Я, знаете, в пионерском лагере инструктором работал, – рассказывал словоохотливый вождь. – И вот работаю-работаю, и замечаю: нравится мне людьми-то руководить. Получается, знаете. И вот так работаю, год за годом, и чувствую: а что! Могу ведь и большее! И вот как-то так, знаете, одно, другое, потом вот грим этот, и пошло, и пошло, – не сразу, конечно, года два я вроде как стеснялся, – ну, готовился, конечно, труды читал, то-се, там… а последние два года работаю, сливаясь с образом… уже не знаю, где он, а где я…» – «Слушайте, Владимир Ильич, – сказала я, внезапно для себя самой проникаясь, – невозможно было не проникнуться, смотря в его вдохновенное лицо, хоть и загримированное, но все же омерзительно значительное, – слушайте, скажите мне, ведь вы же здесь завсегдатай, – а вот там наверху Ваня, мальчик, маленький, на аккордеоне играет, – он что, совсем-совсем ненастоящий? он миллионер или как? – послушайте, ведь я понимаю, что он подсадная утка, что он все врет, что там мощная мафия, но все-таки: ведь он талантливый, его используют… ну вот, по-честному, как вы считаете: это совсем обман или что-то в этом есть?»

Роб и Виллем давно скучали, подпирая стенку, по-европейски терпеливо пережидая мой разговор с вождем мирового пролетариата, пусть фальшивым насквозь, но ведь должна же я была поговорить с кем-то за этот день, пусть ряженым, но человеком, – а мне в этом Ленине почудилось человеческое начало, Бог знает почему!.. – «Не знаю, – сказал вождь задумчиво. – Но знаете что? Мне жена рассказывала. Там старуха наверху ходит, хлебушка просит, жалостно так. А у этой старухи – мерседес. Она от скуки просит. Ее спрашивали: чего ты-то

побираешься? – а она: да мне просто скучно, надоело все, вечером делать нечего! – а сама на мерседесе ездит… Да… А еще инвалид там в переходе, на коляске, видели? – ну вот… я сам свидетель… милиция или кто-то там на него наехал, так этот безногий инвалид костыли отбросил, да как побежит на обеих ногах! Вот вам и инвалид!.. Тут все… сплошное притворство». – И засмеялся довольно.

Я с сомнением посмотрела в честное лицо вождя. «А вы сами?» – «А что я? Я Ленин». – «Послушайте! Вот в пятистах метрах от вас, тоже на глубине трех метров под землей, лежит труп вашего прототипа, – черт его знает, что от него настоящего осталось, может быть, ничего, полведра желе, неважно. Туда анпиловцы ходят, почитают, с флагами. Как это вам?» – «Я как-то не думал», – признался Ильич. – «А если к вам придут и предложат быть диктатором – вы согласитесь?» – «Соглашусь», – шепнул он. – «Правда?» – «Я готов, – зашептал он еще тише. – Знаете, это – как бы вам сказать? – вот если вода поднимается все выше, выше, затопляет континенты, потом острова там всякие… – понимаете? – вот так и я; сначала у меня патриотизм только на нашу страну распространялся, а потом… а теперь уже на весь земной шар распространился, вы меня понимаете или нет?» – «А вы можете сказать, что ваша маска – ведь это же маска! – что она к вам приросла?» – «Могу. Могу. Я иначе чувствую теперь… На людей иначе смотрю. Жалость во мне какая-то проснулась, – понимаете вы это? Чили, Аргентина… Германия… Америка – я чувствую, что я ими могу управлять, понимаете? Я уже могу… Я готов… Пусть только позовут…»

Тут подошел Горбачев, уже в гражданском – пальто, вязаная шапочка, – никакой, ничем не особенный, неразличимый в толпе, такой как все. – «Анатолий Иваныч, пора и по домам. Отдыхать-то надо?» – «Да-да, – встрепенулся Ленин. – Иду. Щас. … Да, так вот: жалость чувствую. Какую-то любовь к людям Чили, Аргентины, Германии…» – «Жалость? Но этот ваш, Ленин-то, был жестокий! – глупо закричала я, забыв о Виллеме и Робе, которые тупо, не понимая ни слова, снимали наши проклятые российские вопросы, пусть и в цирковом варианте, на видеокамеру. – Жалость!.. Он, например, пишет: “мало расстреливаем профессуры”, Ленин ваш! – это вам как?» – «Первый раз слышу, – то ли притворно, то ли взаправду удивился Владимир Ильич. – Ничего такого не знаю. Разве?» Он словно бы даже огорчился.

Мы уставились друг на друга, я почувствовала, что у меня мутится в голове, что называется, «едет крыша». К кому я, собственно, пристаю с идиотскими вопросами? Почему я разговариваю с этим милым, удачливым жуликом так,

как если бы у меня были к нему личные претензии, как будто это он, он в ответе за ложь, воровство и хаос, за нищету, за беженцев, и за гражданскую войну, и за террор тридцатых годов, и за миллионы бессмысленно убитых? Но я в бешенстве, что тот, главный, ушел от ответа, а этот, случайно похожий, фиглярствует и скоморошествует, вызывая смех и шутки, опошляя море крови, которое никогда не просохнет, а главное – что я сама участвую в опошлении, – жить-то надо, кушать-то хочется. История, начавшись как трагедия, в который раз повторяется как фарс, и спросить за это не с кого. Ленин засобирался, ему было пора, мне тоже; короткий день погас, солнце закатилось под землю, под Красную, а стало быть, красивую, площадь, мороз стал еще страшнее, народ бежал домой, выпить согревающего: поддельной водки или грузинского вина рязанского производства. Ряженые расходились: Горбачев уехал на метро, Ельцин разогнул усталые пальцы и снова обрел здоровую, загребущую руку, щуплого пьянчугу Ленина увели на праздник жизни бандиты. Оставалась стоять лишь женщина, торгующая дипломами о высшем образовании. Вот и новая профессура подрастает, взамен расстрелянной, – смутно подумалось мне. А если Анатолий Иваныч придет к власти, что вполне вероятно, то жизнь совсем наступит хорошая, добрая, и жалость разольется по всему земному шару. И старые люди не пойдут махать на морозе красным флагом, а наденут тапочки и будут смотреть телик, не боясь рейтингов. И мальчик Ваня, которому место не на пленке в лесу, и не на пленке видеокамеры, а в детской, выпьет теплого молока и сядет рисовать мир цветными карандашами.

На Красной площади всего круглей земля

А на другой день были будни, и вся нечисть куда-то сгинула, будто приснилась, и улицы были совсем обычными, и ни мусора, ни клочков, ни обрывков, ни флагов, ни картонок «Подайте на похороны» – ничего не осталось. Никто не клянчил, не призывал, не притворялся. Стало теплее, мела метель, смягчая все контуры, и нам наконец удалось добраться до Красной площади, ни на что не отвлекаясь, но площадь была безвидна и пуста. Только на углу Ильинки жестикулировали глухонемые, тщетно уговаривая случайных прохожих позариться на меховые шапки, да из метели выдвинулась было толстая дама в шубе, с распростертыми объятьями: «Их бин менеджер…», но промахнулась и снова ушла в крутящиеся белые вихри. В запертой по случаю понедельника могиле лежал кормилец Анатолия Иваныча, человек, при жизни тоже вовсю выдававший себя за другого: звал себя, например, Николаем, носил парик, жил по поддельным документам, придумывал себе фамилии, – скажем, «Тулин», да и других фамилий у него было множество. Сторoживший его милиционер сказал, что он никогда не видел покойного: лень, и неинтересно. Ему интересно, чтобы его скорей сменили: уши мерзнут. Площадь была не красной, а белой, метель сыпалась с крыш и вздымалась назад к крышам; под площадью тоже ничего заманчивого не таилось. Рабочие открыли было какой-то люк, и мы побрели посмотреть, но это чинили коллектор под магазином «Эсте Лаудер». Виллем нашел место покруглей, встал на колени на холодную брусчатку, уперся лбом в снег, поставил камеру поустойчивее и долго, долго, беспробудно долго, триста лет подряд снимал поземку, все свистящую и свистящую, метущую и метущую по черным молчаливым камням.

Художник может обидеть каждого

Патриаршие Пруды, какими мы их знали, приходят к концу. Если вы хотели там погулять – гуляйте скорее: ударная волна увековечивания докатилась и до Прудов. Распоряжением московских властей там будет установлен памятник Булгакову. Все началось душным майским вечером 1929 года… Боги, боги мои!

Писатель Булгаков, Михаил Афанасьич, уже увековечил себя самым замечательным образом: нерукотворным. Феномен народной тропы в случае с Булгаковым сказался в полной мере: наш таинственный народ торит свою тропку там, где хочет, а не там, где ему указывают. К Лермонтову, например, нипочем не торит. Может, не читал. Тургенева немножко знает, и даже производит конфету «Му-Му» с картинкой коровы, – как если бы Герасим утопил теленка. Гоголя в упор не видит, – должно быть, оттого, что сам является его персонажем. Но Михаил Афанасьич, писатель мистический, поразил народ в самое сердце, причем не всем собранием сочинений, а именно и исключительно романом «Мастер и Маргарита». И не столько страницами о Христе и Пилате, сколько описанием нечистой силы, избравшей для посещения Москву и натворившей там черт-те чего. Кто хоть раз сидел с нашим народом на лавочке, согласится, что черти, домовые, ведьмы, барабашки и лешие ближе и понятней простому человеку: он с ними живет, он об них спотыкается, они у него мелкие вещи воруют, а Христос – это сложно, это туманно, это узурпировано начальством, это ТВ-Центр и перегороженное движение по Волхонке.

Стоило мистическому роману попасть в народные руки, как Патриаршие Пруды, бывшие дотоле мирным местом прогулок, немедленно, раз и навсегда, необратимо сделались местом также мистическим, культовым. Обычный милый уголок города, попав в зону литературной радиации, незримо преобразился. У радиации, как известно, нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, – одно воздействие… Вот на этой аллее «соткался из воздуха прозрачный гражданин престранного вида», – именно на этой, а не на той. Вот на этой скамейке сидели Берлиоз с поэтом Бездомным. Вон там был ларек «Пиво и воды», а тут турникет, а здесь Аннушка пролила подсолнечное масло. Посвященный видит все это, образы ткутся из воздуха, населяют тенистую аллею. Это и есть нерукотворный памятник.

Но Общественный совет при мэре Москвы по проблемам формирования градостроительного и архитектурно-

художественного облика города (длинный-то какой) не верит в нерукотворность и решил вложить административные персты в незримые раны Распятого и его Певца. Совет подумал: вроде тут вот всё оно и клубилось, коты эти с грибами, клетчатые черти, – чой-то ничего не видно? – и заказал, чтоб было видно. Плоть от народной нашей плоти. Совет при мэре тоже запанибрата с нечистью и потому, объявив конкурс на лучший проект памятника Булгакову, не стал никак обосновывать свое решение установить памятник не где-нибудь, а именно здесь – «на Патриарших Прудах, вблизи павильона».

Восплачем, кстати, о судьбе скульптора, тяжела его доля. Душа у него, может быть, рвется лепить зайцев, а конкурс – на деда Мазая. Руки чешутся изваять голых баб – а бабы не кормят, кормит Ильич, или же Пушкин какой – и вот дважды в столетие, к годовщинам рождения и смерти, топчет и душит скульптор свою пугливую летучую музу, и, погрузивши руки в шамот, с понятной ненавистью лепит и лепит ненавистные, заказные бакенбарды.

Он же тоже есть хочет, скульптор-то. Он же тоже смотрит на освещенные витрины с жареными курами печальными карими глазами собаки Павлова.

И вот двенадцать человек (число мистическое, но и задумка обязывает) откликнулись на зов трубы Совета при мэре. Двенадцать апокрифов под шифрами были представлены в помещении Российской Академии всяких художеств и сопровождены «пояснительными записками». Скульпторам мало показалось написать в записках: «тут я думаю поставить столб с развевающимися простынями, а из простыней чтоб свисала лепеха, и в ней профиль писателя», или: «я развешу там-сям отрезанные головы», или же: «на бережку будет большой наклонный зеркальный треугольник. К нему одними задними ножками крепится кресло с А. Н. Островским, что у Малого театра, но считается как Булгаков». Нет, скульпторы пошли одолжились у соседних муз и вылепили тексты, мутные как по форме, так и по содержанию. «“Мастер и Маргарита” – один из немногих романов, одухотворяющий на изобразительное творчество». «Сатана-Воланд, этот человекоубийца от Начала, осуществивший Божественную функцию в окружении бесовской свиты стоит в центре сегмента земного шара». «Булгаков в пяти измерениях: три пространства + время + собственно булгаковское. Неустойчивое равновесие! Устойчивое неравновесие!»

Поэтика сопроводиловок – смесь темного бормотания газеты «Завтра» со шпаргалками двоечника – толкает на нехорошие

мечтания: чтобы прием в Академию сопровождался обязательным усекновением языка. Ведь если слепые лучше слышат, то, может быть, немые лучше ваяют?.. Один из памятников, – боги, боги мои! – представляет собой бесконечно длинные, длиннее дядистепиных, брюки, сами по себе стоящие на подставке, а над брюками – скрещенные на несуществующей груди руки… Видна рука (или нога?) профессионала: к конкурсу допущены лишь «профессиональные (дипломированные) скульпторы, художники и дизайнеры, имеющие опыт работы по созданию произведений скульптуры и монументального искусства, лицензированные архитекторы». Сунься какой нелицензированный Пракситель – отлуп. Постучись безвестные молоденькие студенты, озаренные свежей мыслью, – пинка молокососам! «Мы кошкины племя-я-я-янники!» – «Вот я вам дам на пряники!.. У нас племянников не счесть, и все хотят и пить и есть!»

Гуляйте же, гуляйте напоследок по Прудам, смотрите на них с улыбкою прощальной, покажите детям, пусть запомнят. «Демонтировать павильон под ансамбль Булгакова, – мечтает зодчий, – затея соблазнительная, но почти неосуществимая. Значит, вода». Значит, – прощай, вода! Звери алчные, пиявицы ненасытные, что горожанину вы оставляете? воздух! один только воздух!.. Уже не протолкнуться по Арбату, не проехать мимо Манежа, подрыт Александровский сад, узкой калиточкой стали Никитские ворота, Кинг-Конг навис над Замоскворечьем: что бы еще украсить? Кремль? – срыть его, сровнять с землей, населить персонажами сна Татьяны! Перекрыть движение по всей Москве, выгнать всех приезжих, да и москвичей заодно, и пущай скачут по всей столице петры да медведи, Нострадамусы да кикиморы, пусть из каждой подворотни скалится наше размножившееся все. Спорить с этим, протестовать, говорят нам, – бесполезно.

Но воздух пока свободен. И свободно пока летают по нему народные мстители – голуби. Посидев на головах увековеченных, они, конечно, свободно, обильно и наглядно выразят свое отношение к проектам Российской академии художеств.

Летите, голуби!

Новое имя

…Желчь собачья оздоровляет гнилые и опухшие очи.

Лечебник

…стоит лишь хозяину и хозяйке его обидеть чуть-чуть, так он на них в людях все непотребное выльет. Вот от таких-то глупых слуг всякие ссоры и возникают, и насмешки, и укоры, и срамота.

Домострой

У Юмашева была собака. И у Суханова тоже была собака. Эти собаки друг друга терпеть не могли. Их хозяева, соответственно, тоже. Вот однажды Суханов взял да и пнул собаку Юмашева ногой в бок. Пес запомнил обиду и, дождавшись удобного случая, «тяпнул оторопевшего помощника президента между ног, в самое интимное место».

К чему нам это рассказывает генерал Коржаков в своей «предельно откровенной» книге? Просто ли утепляет добрым солдатским юмором неспешную повесть о доносах и грызне под рубиновыми звездами? Никак нет: это притча. Вся книга Коржакова построена на этой притче. «Двигало ли мной чувство мести?» – спрашивает сам себя генерал. И сам себе отвечает: отчасти да. Ну этого можно было не спрашивать, да и не трудиться отвечать. И мотивы, двигавшие писателем, и жанр его труда, – все вполне традиционное. Оправдываться и пояснять – это лишнее. Сброшенные с высот всегда стремятся набрать побольше камней и сказать всю правду. Понимаем. Тянет к литературе.

Начинающему писателю непросто бывает организовать собранный материал, выстроить его, придумать название книги. Сбор материала, конечно, очень важен: тут и копание в архивах (ФСБ), и знакомое творческим людям внезапное везение (анонимный доброжелатель возьмет да и пришлет компромат в нужный момент на нужного человечка), тут и теплый, задушевный разговор с глазу на глаз:

К.: Лично о вас я шефу никогда ничего плохо не говорил.

Ч.: Но кто-то же это делает.

К.: Вы учтите, что я Борису Николаевичу пишу и на его окружение. Вы думаете, что только у вас Петелин не ангел? Сколько я документов шефу про Батурина показывал?

Здесь мы видим, как будущий писатель делится тайнами своей творческой кухни, – пока что «пишет на», показывает наброски старшим товарищам, но скоро напишет и «о».

Писать «о» трудно, и мы, читатели, полагаем, что какие-то добрые люди немного помогли молодому таланту. Безусловно, советовали, а иной раз и отсоветывали. Так, по словам автора, он было хотел, но ему отсоветовали назвать книгу «Бодался теленок с дубом», так как «где-то это уже было». Конечно, это не резон совсем уж так сразу отказываться от цитат и литературных реминисценций, поэтому одна из главок книги называется «Осень патриарха». Это тоже где-то было. Другая называется «Закат». И это было. Третья – «Полет во сне и наяву». Было и это.

А раз все, за что ни возьмись, уже было, то, по нашему предположению, автор (авторы) решил пойти другим путем и не прятать литературный прием, но, напротив, подчеркнуть его, изящно и неназойливо, но в то же время отчетливо построив повествование на развернутой метафоре сторожевого пса. Размеры рецензии, как говорится, не позволяют, но для любителей литературы, для sapienti, достаточно и нескольких ссылок, чтобы оценить остроумие замысла. Сквозь нарочито небрежную композицию книги просвечивают тексты почтенных предшественников: тут и Булгаков («Собачье сердце»), и Носов («Бобик в гостях у Барбоса»); напрашивающуюся аллюзию на Мухтара опускаю как слишком очевидную. Автор строит повесть о своей сторожевой жизни умело, опытной рукой (руками): в начале пути бедное детство в конуре («в подвале барака»: пол земляной, «котенок на улицу не ходил, справлял все свои дела прямо на полу и тут же закапывал»), затем постепенное и неуклонное расширение жизненного пространства (всюду подробно и с любовью указан метраж), на вершине же сторожевой карьеры – переезд в президентский (хозяйский) дом. Центральная метафора объясняет и необычно пристальный интерес к кроватям, креслам и диванам, особенно драным: так, у самого генерала дома «оригинальные диваны, на которых можно лежать, и сидеть, и прыгать», диван, оставшийся после Горбачевых в Барвихе – «протертый», но, – размышляет генерал, – «бывает ведь и протертый диван удобным» (и все мы знаем много друзей человека, которые сейчас же с этой мыслью согласятся); дружеские шутки среди своих – тоже на эту тему: «Говорю Паше: “Посмотри, диван, наверное, в гараже несколько лет стоял,

его мыши прогрызли". Жена Грачева, Люба, мне за такой юмор чуть глаза не выцарапала». Тонко вводится и такая деталь, как внимание к свалкам, запахам (костюм и жилье Юмашева), любопытно узнать о рационе рассказчика (приучен к гречке с мясом), и, конечно, широкими и щедрыми мазками обозначен неугасимый, пристальный, неустанный, сквозной интерес к тому, что в культурологии называется телесным низом. Тут мы от Носова переходим сразу к Рабле. «Как-то с одним таким "идеальным" человеком я гулял. Точнее – он гулял, а я его охранял… И вдруг мой подопечный с громким звуком начинает выпускать воздух». Далее следует обильнейшая информация касательно разнообразных естественных отправлений представителей властного эшелона, информация совершенно, казалось бы, ненужная и неинтересная, если забыть или не заметить, что наш рассказчик – Полкан. Как мы невнимательны к сигналам, которые нам отчаянно, борясь с трудным человеческим языком, подает автор! Вот он намекает, что он не такой, как другие: «Я мог днями не есть, часами стоять на ногах и целый день не пользоваться туалетом»; вот он хвастается своей тренированностью: «прыгал высоко, с "зависанием"»: вот простодушно рассказывает, как выезжали на дачу: «Б. Н. в кирпичном коттедже, а я – неподалеку от него, в деревянном»; вот показывает зубы: «За 32 рубля я готов был бороться как зверь»; вот с интересом слушает, как обещают наказать других, например, Филатова: «Если вы задумаете сделать что-нибудь серьезное, предупредите заранее – я запру мужа в кладовке»; вот добродушно, снисходительно следит за играми малых шавок: «Миша умел развеселить Бориса Николаевича: потешно падал на корте, нарочно промахивался, острил…»; вот навостряет ухо, когда другой (Руцкой) тоже хочет: «Б. Н.!.. Я буду сторожевой собакой у вашего кабинета!»

Каким видел себя Александр Васильич – таким его видел и хозяин. Александра Васильича больно дергали за галстук, вынуждали плавать в ледяной воде, заставляли пить, когда ему не хотелось, тыкали грязными ногами в лицо, на него кричали, публично унижали, называли «дерьмом» дурные новости, которые он приносил в зубах… Наконец, президент испробовал на Александре Васильиче научный метод академика Павлова: боясь операции, вначале использовал подопытное животное. «Я прооперировал свою здоровую носовую перегородку ради шефа». Все он терпел, потому что если из-за 32 рублей можно «озвереть», то на что не пойдешь ради тех сладостных минут, когда хозяин уснул, и все – твое? («Б. Н. опять заснул, а я опять сел управлять страной…»)

Герои Булгакова и Носова, ненадолго превысившие отпущенные им полномочия, вернулись к прежнему статусу, нарушенный было порядок вещей был восстановлен. Задумчиво перелистывая страницы классики, мы припоминаем, что и Шарик, и Барбос остались неотмщенными. А справедливо ли это? Нет, несправедливо, – считает генерал. Ведь «у собак память получше, чем у людей». Новое поколение, запомнив обиду, кусает хозяина за причинное место с самыми лучшими намерениями, в интересах России, «ради демократии».

Продолжение, вероятно, следует: Александр Васильич дает понять, что кой-где зарыл еще косточку.

Обложка книги приятного желтого цвета, тираж большой, цена высокая, текст богато проиллюстрирован цветными объедками.

Дедушка-дедушка, отчего у тебя такие большие статуи?
Колумбарий пополняется

В 302 году до Рождества Христова скульптор Харет из города Линд (остров Родос) принялся за работу.

Не прошло и двенадцати лет, как все было готово: статуя бога Гелиоса, высотой в 32 метра (одиннадцатиэтажный дом) возвышалась над гаванью Родоса, – города, одноименного с островом. Скульптура потрясла современников, была признана одним из Семи чудес света, и известна нам теперь под именем Колосса Родосского. Простояв 66 лет, Колосс был разрушен землетрясением. Он подломился в коленях и рухнул.

В 1998 году нашей эры скульптор Зураб из города Москвы (РФ) отдыхал на родине Харета. Кушал спанакопита, дзадзики, коккинисто, а сердце ныло: нет больше Колосса Родосского. Осиротела греческая земля. Добрый Зураб так этого оставить не мог. «У меня этих колоссов вон сколько, а у них – ни одного, – думалось чудесному грузину. – Подарю-ка я им христофорчика или петрушку». И опытной рукой набросал божественные черты.

Грозный бог Солнца видится Зурабу Константиновичу пожилым левшой с букетом профзаболеваний. Подвывих локтевого сустава, тендовагинит кисти, деформация стоп, возможно, ишиас – в общем, нетривиальное решение. По авторской задумке, Гелиос широко расставил ноги над входом в порт и развесил ляжки над винноцветным морем, так что ахейские триеры и легкокрылые лодки феаков скользят по волнам в гостеприимную гавань, осененные могучей промежностью лучезарного дебила.

Голову своему произведению искусства скульптор самостоятельно придумывать не стал, взял от статуи Свободы. И правильно, зачем изобретать велосипед? В больной руке произведение держит чашу с огнем, что как-то странно: Гелиос-то, бог Солнца-то, уж мог бы, казалось бы, и головой посветить, иначе зачем она окружена лучами?.. Хотя с больного какой же спрос. Во второй руке у бога булочка. А вот каково скульптурное решение объема, наиболее проблемного для ваятеля-реалиста, а именно – причинного места – мы не знаем, – в эскизной версии там просто закалякано. А если узнаем, то испугаемся. Штанов греки не носили, их боги тем более. Но это ведь только написать легко: «прекрасное обнаженное тело», а посмотрю я на вас, когда, стоя на палубе парома с пластмассовым стаканчиком кофе в руке,

вы будете проплывать под разверстым пахом колосса, а над вашей головой будет клубиться это «тело» размером с хороший паровоз! Не каждый это любит. Даже если, допустим, приварить к шулятам фиговый лист (с баром и казино внутри), это не добавит благообразия, ибо, скажем прямо, голый дядька с расставленными ногами – это голый дядька с расставленными ногами, а у греков тоже дети.

«Идея воссоздания Колосса полностью меня захватила», – сообщает г-н Церетели в письме в греческое Министерство культуры. Это, конечно, неправда: о ВОССОЗДАНИИ не может быть и речи, иначе г-н Президент Российской академии художеств потратил бы полтора часа (мне этого хватило) на выяснение того, как выглядел колосс в древности.

Понятно, что академик затоварился колумбами, и ему нельзя не посочувствовать, но стыдно должно быть народному (да и любому) художнику подсовывать великому народу гнилой товар.

Описание колосса сохранилось. Обнаженный бог стоял, приложив правую руку ко лбу, как бы вглядываясь вдаль. В левой руке был плащ, спускавшийся до земли и служивший опорой для статуи. Враскоряку бог не стоял – эта глупая легенда возникла более чем через полторы тысячи лет после того, как статуя упала. Чем он поразил современников, – только ли размерами, или же красотой, неясно. Но приличные люди в древности (как, впрочем, и теперь) ценили в искусстве – искусство, и осуждали излишество и расточительство. Одно время Колосс был самой большой статуей греческого мира: каждый палец гиганта превосходил величиной обычную статую. Потом-то воздвигали идолов и повыше: мегаломания – болезнь тиранов – в эпоху эллинизма стала повальным явлением. В одном лишь городе Родосе стояло еще сто колоссов, если только современники не врут, а зачем бы им врать. Деньжищи за такую работу платили тоже колоссальные: уже в римское время скульптору Зенодору за статую Меркурия заплатили, включая все расходы на материалы, 40 миллионов сестерциев.

Рухнувшее чудо света родосцы могли бы сразу восстановить: египетский царь Птолемей III Эвергет выделил огромные средства для этой цели. Но повинуясь оракулу, запретившему восстановление колосса, они бросили эту затею. Так он и лежал тысячу лет, зарастая колючками, пока арабский завоеватель не продал обломки некоему купцу, который увез их на 980 верблюдах.

Навязываясь с подарками Греческой Республике, стране, где мегаломания уж 2000 лет как поутихла, господин Церетели

не разъясняет, какая из заинтересованных сторон должна поставить верблюдов, кто заплатит за 13 тонн меди и 8 тонн железа (таков был расход на древнего колосса, на литую же статую уйдет 200 тонн бронзы), за чей счет он предполагает осуществить отливку, сварку, растаможку, перевозку, сборку и все прочее. Намерен ли он применить испанский вариант – пришел с братом, ушел с тортом? Готов ли платить из своего кармана? Или за ним – мимолетный царек, любитель изящного, Птолемей Птолемеич с полной кепкой сестерциев?

Направив в Министерство культуры Греции свои оскорбительные для культуры заявки, г-н Ц. обошел денежную сторону молчанием, и напрасно.

Не получилось бы с ним, как с Харетом. По одной из легенд, создатель Седьмого чуда света, составляя смету на колосс, колоссально обсчитался. Запрошенных им средств хватило лишь на эскиз да подножие. А больше не дали. И тогда, не вынеся горя и позора, автор Колосса Родосского покончил с собой.

Человек!.. Выведи меня отсюда

Говорят, он популярен; сам Якубович убежден, что его смотрят «десятки миллионов человек». Может быть, и смотрят. Страна велика, зимы долги, темнеет рано, в пятницу вечером телевизор у всех включен. Десятки миллионов также пьют отравленную воду – другой-то нет; дышат ядовитым воздухом. Некоторые купаются в теплых радиоактивных озерах. Пьют плохой, дешевый спирт, и потом их долго и мучительно рвет плохой, дешевой закуской.

Его «шоу», как и все телевизионные игры, украдено у американцев и топорно перелицовано на совковый лад. Американский прототип игры называется «Колесо фортуны». Вульгарно и притягательно освещенное синим и розовым, все в золотых струящихся огнях и взблескиваниях копеечных алмазов, – колесо это есть смысл и центр игры, олицетворение Шанса. На колесо, на его сияющие цифры участники игры молятся так истово, как умеют молиться только американцы и только деньгам. Смысл игры в том, чтобы накрутить себе побольше денег, а для этого приходится напрягать голову: угадывать буквы. Больше оборотов колеса – больше очков, больше шансов; поэтому играют быстро, напористо, сосредоточенно. Когда финалист думает над последним, решающим словом, камера показывает крупным планом капли пота на напряженном лбу; аудитория замирает. Ставка – шутка ли – либо автомобиль, либо 25 тысяч долларов, – годовая зарплата кассирши. Адреналин можно выносить ведрами. Игра глуповата, – чуть интеллектуальнее бега в мешках, – но игроки держатся с достоинством.

В нашем глухом и темном краю быстро переняли игры по зарабатыванию очков. Вот только в пятничном зрелище – «понюхает, на хвост нанижет, – очки не действуют никак». Колесо «Поля чудес» практически не крутится, да и угадывание слов – хоть какая-то тень умственной деятельности – отодвинуто на десятый план участниками, увлеченными взаимовручением съедобных и несъедобных предметов. Зрелище это считается «культурой» – недоразумение совершенно пролетарское. До революции мужики тоже водили по деревням медведя с кольцом в носу – «Миша, спляши! Миша, покажи, как баба белье стирает!», – но никто не считал ни мужиков, ни даже медведя деятелями культуры. Медведь плясал, медведь кланялся, медведя кормили совершенно как Якубовича, – разница лишь в том, что на ночь зверя запирали в вонючей конуре, а Якубович ночует

в теплой постельке; еще разница в том, что медведь не хамил и не растлевал детей.

– А что делает ваша мама? – склоняется балаганный Свидригайлов к прелестной провинциальной девочке, лет десяти с виду.

– Мама ходит на обрезку.

– Я знаю, в Израиле есть такой обычай, – удовлетворенно заключает деятель культуры.

Радостный, заливистый хохот толпы. Вытирают слезы от смеха. Девочка смотрит растерянно, не понимает, что она такого сказала?

Знаете, что делает после этого хороший родитель? Хороший родитель, мама или папа, – это совершенно неважно, – берет грязного старикашку за жирный затылок и рылом, рылом тыкает в вертящееся и сверкающее колесо. Но таких тут нет, и старикашка берется за следующего ребенка.

– А что делает ваш дедушка дома?

– Водочку пьет, – доверчиво отвечает мальчик.

Хохот толпы. У дедушки улыбка застывает на лице. Мог ли он предвидеть? Десятки миллионов развалились на диванах, смотрят на публично опозоренную старость и – что, тоже хохочут?

– А что мама про папу рассказывает? А? – Трехлетняя кукла с огромным розовым бантом не знает, что сказать. Доверчиво, ясно смотрит она на ласкового дядю. Она еще не доросла до возраста Павлика Морозова.

– А папа по воскресеньям дома?.. А вы уверены, что это ваш папа?.. Папа, вы что-то скрываете от ребенка!..

Есть родители, которые продают собственного ребенка на улице за бутылку водки. Публика, рванувшая со всей страны на Поле Чудес в Стране Дураков – а именно там это поле, как известно, и находится – тоже без стеснения торгует детьми. Детской чистоте и невинности Якубович назначил недорогую цену – цену утюга. Они согласны! За утюгом, за миксером, за кофемолкой спускаются семьи с гор, из заснеженных аулов, бредут через тундру, штурмуют поезда, переплывают реки, волокут деток в телевизионный лупанарий. В Москву! в Москву! к колесу! Там их оплюют, обхамят, зато если повезет, то им достанется целый телевизор! Ага! А в телевизоре Якубович, а в Якубовиче опять телевизор, а в нем опять Якубович – бесконечная матрешка непотребства.

С гор и равнин публика везет Якубовичу подарки: закатанные в банки огурки-помидорки, вино, копченую рыбу, торты. О, какие сцены разыгрывает народный любимец! Хватая копченое

и печеное, он урчит, он чавкает и чмокает, он толкается и пихается. Вот он передал блюдо с метровым осетром студийной девушке:

– Стоять здесь! Никуда не ходить! Здесь стоять! А то я вас знаю! Ни корочки не останется! Стоять! Поставь сюда! Никому нельзя верить! Ну то? Шо ты пихаешься?

ПРИЛИЧНАЯ ЖЕНЩИНА: Я хочу передать привет моей племяннице… Она работает медсестрой в больнице на 1500 коек…

ЯКУБОВИЧ: Мне столько не надо!.. Вот с двумя – с удовольствием!.. Я стою – все дрожат, а лягу – ой! ой!..

УЖАСНАЯ БАБА (о мешке с деньгами): Дайте я пощупаю…

ЯКУБОВИЧ: Кого?

Якубович учит, что человек – это звучит подло, и показывает это на себе. Человек, – говорит и показывает Якубович, – есть нравственный слепец, теряющий остатки достоинства при встрече с дармовым электроприбором. Человек, по Якубовичу, есть алчное, жадное, полупьяное животное, ежеминутно желающее лишь жрать да трахаться. Человек не хозяин своей судьбы – он раб колеса. Слушайся начальства, терпи, виляй хвостом, угодливо подхихикивай, вези оброк, он же взятки, он же – «подарки в студию!» – и хозяин смилостивится, покрошит немножко объедков с балкона в толпу.

Загляните в его глаза, голубые, как яйца дрозда, – в них не светится ничто человеческое. Можете плюнуть в них. Ничего ему не сделается.

Ложка для картоф.

Мне захотелось купить чашки, ложки и вилки, и я смело и свободно вошла в магазин.

– Сумочку сдайте, – скорбно сказала пожилая женщина, дежурившая у деревянных ячеек с номерками.

– А что такое? – всполошилась я.

Женщина завела глаза под лоб и чуть-чуть сдвинула челюсть вперед – в том смысле, что, знаете, все бывает: делают вид, что покупать пришли, а сами… Впрочем, магазин назывался «Фея домашнего очага» – нечто исключительно языческое и сакральное, возможно, предполагающее даже ритуальное обнажение. Может быть, дабы не осквернять храм, посетители должны оставить за порогом мирские предметы. Делать нечего, я отдала ей сумочку и тут же начала об этой сумочке мучительно думать. Мне начало представляться родное содержимое сумочки. А вдруг ячейная тетка за моей спиной подглядывает в это содержимое? А вдруг она перепутает и отдаст мою сумочку другому? А вдруг она отойдет на минуту, а кто-нибудь подбежит и – хвать?

Поэтому я дергалась и оборачивалась на ячейки и их хранительницу. Как только я начала дергаться и оборачиваться, у меня за спиной вырос мужчина в дорогом, но мешковато сидящем костюме – служитель культа Феи. Он стал внимательно смотреть на мои руки; правда, стоило мне обернуться, как он сейчас же начинал рассматривать пол. На полу же ничего интересного не было.

– Все гармонично, – поняла я. – Пока я думаю, что они будут красть у меня, они думают, что я буду красть у них.

Я растопырила пальцы и расставила руки немножко в стороны, чтобы было видно, что я не сгибаю палец крючком, не подцепляю и не выдергиваю вещи из витрин. Кроме того, я пошла особо медленной походкой, чтобы показать, что я не убегаю стремглав с неправедно награбленным.

Чашек и ложек в магазине было полно. Один кофейный сервиз был даже ничего, и я нагнулась, чтобы рассмотреть его поближе. Мужчина за моей спиной встал поудобнее и тоже нагнулся. Так, должно быть, всегда делают у очага.

«Взять, что ли? – размышляла я. – Чашки белые, с голубым рисуночком. Небольшие, но скромные. Теперь, когда ко мне придут друзья, – скажем, Наташа, Дима, Сережа, – мне приятно будет угощать их кофе из небитой посуды. Они будут веселиться и хохотать, и всем будет хорошо и приятно».

Сервиз стоил 5 485 200 рублей ровно. Стало быть, 914 200 на каждого. Почти миллион старыми. Сто сорок семь долларов. Это что же, Дима будет хватать руками чашечку за 147 долларов?! Дрожащими руками пьяницы? Нет-с, Дима отпадает. Наташа? Она любит говорить, размахивая чашкой. Я буду следить за траекторией чашки, волноваться за ее сохранность и упущу нить разговора. А зачем мне разговор, нить которого я упущу? А Сережа любит хлопнуть чашку на блюдце с размаху. Мои друзья не могут соответствовать моей будущей посуде. Либо они, либо чашки. Что ж, конец визитам. Прочь от моего очага. Увы.

Отказавшись от многолетней дружбы, я прикинула, кто же выдержит испытание. Получилось: Паша и Лена. Они смирные. Тут мой взгляд упал на другой сервиз, симпатичнее прежнего. Я представила, как Паша степенно пьет из этой чашечки, беленькой с красненькой полосочкой. Цена – 11 210 400 старыми, то есть 301 доллар на рыло. Н-да. А рубашка на Паше стоит от силы десятку, и манжеты пообтрепались. А у Лены туфли куплены еще в прошлом году. Да вообще, кто они такие, эти Лена и Паша? И почему они вечно хотят кофе, – пили бы себе желудевый напиток из эмалированных кружек – по Сеньке и шапка. «Кофейку сваришь?..» – «Нет, Лена, – скажу я, холодно глядя в сторону. – И вообще, Лена… Ты этим чашкам не пара. Спрячь ноги под стол: сейчас Билл Гейтс придет».

Опомнившись, я оторвалась от витрины. За мной стояли уже трое алтарных служек, глядя кто в пол, кто в потолок. Не украв сервиза, я двинулась дальше. Трое бесшумно двинулись вслед. А интересно, как Билл Гейтс пьет кофе: с сахаром или без? Сахарная ложечка серебрилась в витрине в компании старших сестер. Купить Биллу ложку, чего там. 121 доллар штука. Сервиз плюс ложки… Да, но надо еще торт: Билл Гейтс смутно ассоциируется с тортом. Шесть вилок для торта – 1177 долларов. Итого – 3713. Если вынести из квартиры всю мебель, продать стиральную машину и месяц постоять в метро с картонкой: «Все сгорело, внуки обезножили, подайте на ремонт храма», то, думаю, справлюсь. При условии, конечно, если год питаться одной картошкой. В самом низу витрины, между «ч. ложкой» и «л. для соуса», как раз на этот случай, очень кстати, лежала «ложка для картоф.».

Тут вдали, в сумочных ячейках, произошло какое-то шевеление. Ну все, теперь точно меня обкрадывают, ловко отвлекая мое внимание на блеск витрин. Но нет, это к троим вооруженным служителям культа присоединились две весталки: что-то в выражении моего лица, видимо, подсказало им, что меня

опасно оставлять одну. Первая бегло осмотрела мою одежду: не оттопыривает ли украденное мои карманы, а то, может, у меня внутри пиджака пришита петля, как у Раскольникова, – а бывает. «Вам что-нибудь пояснить?» – спросила вторая.

«Поясните мне, отчего это ложка для картоф. стоит 2 миллиона 840 тысяч 400 рублей?» – «Это очень престижная вещь. Ухаживать за ней легко и просто. – Глаза женщины были пусты, фальшивы и печальны. – Только необходимо приобрести специальные мешочки. Серебро хранят в мешочках, чтобы уберечь от налета». – «От налета лучше в сейфе, а сейф закопать в вечную мерзлоту», – посоветовала я. – «Брать будете?» – «Не сегодня», – сказала я. Все пятеро жрецов посмотрели на меня с презрением. Мне нужно было покинуть «Домашний очаг», не теряя достоинства. Главное тут – небрежность. Делая вид, что меня внезапно заинтриговала лампа за 12 миллионов, я с прямой спиной, небрежно направилась назад, к ячейкам: «Отдайте мне мою сумочку».

Тут у мешковатых мужчин, следовавших за мной по пятам, осмыслились взоры, и они заговорили. «С этой стороны нельзя». «Вы должны выйти из магазина, обойти вокруг и снова зайти». «Глаза у вас есть, женщина? – тут “кирпич” нарисован. Выйдите мимо кассы, и обходом через проход».

«Вот оно: выигрывают время, – догадалась я. – Вот как тут у них все устроено: пока я буду пробираться через огороды, они как звери кинутся на мое сокровище и разнесут все в клочья». Я снова прошла через весь длинный, бесконечный магазин, через все разбойничье логово. Прошла под осуждающими взглядами бронированных бойцов охраны, под взглядами торговых работниц, на дух не выносящих неновых нерусских, мимо витрины с остатками фарфора и грамматики («бдюдце» – 225 000 р.), вышла, развернулась и – обходом через проход – вихрем, задыхаясь пронеслась по полутемному пустому коридору. Я успела: схватила свою сумочку прежде, чем они, все было в целости и сохранности – и газета, и записная книжка, и кабачок с петрушкой, и сигареты, и даже зажигалка! Хотели меня ограбить, но не вышло. Фее – бой! Победа за нами. И прижав свое сокровище к сердцу, я вышла на душную и жаркую улицу с душевным подъемом.

Как радостно сердцу! Где еще, когда еще – подумать только! – можно за каких-то там полчаса в какой-то там посудной лавке – пережить весь основной набор эмоций, не всегда-то в полной мере и выпадающий на долю человеку в течение жизни? Страх, глупость, тщеславие, искушение, унижение, жадность, предательство, снобизм, паранойя – мои, не чьи-нибудь, –

расставьте сами и добавьте от себя. Господи Боже, Царю Небесный! Благодарю тебя, что в неизреченной милости Твоей не даешь забыться и погрязнуть в гордыне. Что в минуту слабости и низости нашей бабахаешь человека в лоб ложкой для кар-тоф., чтобы напомнить ему: прах еси и в прах возвратишься.

Или же наоборот, Господи?..

Битва креветки с рябчиком

Битва креветки с рябчиком в сегодняшней русской кухне закончилась полной победой креветки. Чужое море победило блеклые и облачные среднерусские небеса, и холодные гады морские вползли на наши столы и вытеснили из наших сердец некогда столь милых птичек. Рябчики, дупели, перепелки, глухари и тетерева кажутся сегодня почти такими же сказочными персонажами, как птицы Сирин и Алконост. Креветки, омары, устрицы, мидии и друг морей тунец правят бал, причем все чаще являясь на этот бал голыми и холодными, как сиротка в рождественский вечер. Купец у Островского заказывает «вальдшнепов жареных в кастрюльке», сегодняшний московский купец просаживает состояние в суши-баре, убедив самого себя, что ему вкусно. Нет, я верю, верю, что ему вкусно, – в конце концов и после сеансов Кашпировского калеки отбрасывали костыли и пускались в пляс: такова сила самовнушения.

Удивительно другое: где источник этого самовнушения и почему новая Россия вновь поворачивается лицом, чтобы не сказать желудком, к Востоку, по-новому отвечая на вопрос, заданный ей в свое время Владимиром Соловьевым: «Каким ты хочешь быть Востоком, – Востоком Ксеркса иль Христа?» Сегодня Россия хочет быть Востоком Акиро Куросавы, Ямамото и «Мицубиси». Широк русский человек! В прежние времена самой дальней границей наших аппетитов был Китай, и, видит Бог, мы взяли у жителей Поднебесной лучшее, что у них было, – чай, превратив его в наш национальный напиток. Ни одного из классических, любимейших китайских лакомств мы при этом не позаимствовали: ни медвежьи ладоши, ни мозг живой обезьянки, ни соловьиные язычки не соблазнили наш маленький трудолюбивый народ. Только эксцентрики от любовного отчаяния решались на какого-нибудь трепанга или супчик из акульих плавников, подобно Ваньке Морозову из песенки Окуджавы: «А он медузами питался, // Чтоб той циркачке угодить, // И соблазнить ее пытался, // Чтоб ей, конечно, угодить».

Казалось бы, кому, как не нашему народу, питаться медвежьими ладошами и соловьиными язычками при таком-то изобилии берлог и гнезд? Но что-то мешает нам поедать «певца любви, певца моей печали», – наверное, именно любовь и печаль. А на рябчика и дупеля, птиц немузыкальных, наша печаль не распространяется. Так что хотелось бы их хоть раз попробовать.

Русской кулинарии – как и русской культуре в целом –

свойственно заимствовать и перерабатывать все достижения чужих культур, придавая чисто русское своеобразие всему пересаженному на нашу почву. Мы заимствовали квас из Скандинавии, и что же? – одни мы его и пьем, а скандинавы с изумлением и недоверием обходят свой родной напиток стороной. Мы заимствовали «макарони» из Италии, но они не стали «пастой», а превратились в «макарошки», совершенно особое русское блюдо, которое достают вечером из холодильника и разогревают на сковородке – технология, неизвестная на Аппенинском полуострове. Мы заимствовали гречку, – судя по имени, из Греции, ее другое название «сарацинская крупа», но так, как едим ее мы, ее не ест никто. Она настолько обрусела, что словом «каша» иностранцы обозначают именно гречку, хотя каш, как мы знаем, много.

Невидимые границы национальности, вещи загадочной, но несомненной, обозначены и обрисованы вкусом, и это верно как для музыки и архитектуры, так и для гастрономии. Прекрасны готические соборы, но стрельчатые шпили и прозрачно-цветные окна у нас не получаются, не вписывается почему-то то ли в пейзаж, то ли в душу. Нам милее мягкие, покатые линии, дома, расплывающиеся вширь; наши купола – луковицы да репки, свеклы да редьки, их мы едим, на них и крестимся. Нас манит новизна дальних земель, мы всё, конечно, перепробуем, но не всё примем как свое. Русский человек, безусловно, не откажется от курицы с ананасом, опознав в ней троюродную сестру гуся с яблоками, но – руку на сердце положа – не станет готовить ее дома, для себя, как не станет ходить в собственной квартире на каблуках-шпильках, когда никто не видит.

Но ведь нет среди нас тревожных безумцев, которые посыпа́ли бы вареную картошку кокосами. Это мучительное для русского человека блюдо кхмерской кухни называется «едой ангелов», и в этом-то, наверно, все и дело: ангелы на Руси другие. Если в Индокитае ангелы пропахли имбирем и кокосом, если средиземноморские ангелы не расстаются с чесноком и маслинами, если слепой американский ангел ест картон и вату, то у наших тут, у местных, в лукошках лук и клюква, яблоки, хрен и грибы.

Японцы, хранимые своим собственным водоплавающим ангелом, превратили скудость в добродетель и возвели бедность в ранг поэзии. Маленькие стишки, которые столь же приятно произносить, сколь и рассматривать, в тарелках оборачиваются маленькими сверточками, похожими на подарки карликам: кашка завернута в травку и украшена сырой рыбкой. В суповой

мисочке – детское, игрушечное море: солоноватая водичка и кто-то маленький с глазками. На блюдечке – садик.

Кажется, эта кукольная, резко иностранная еда никогда не будет одомашнена нами, ее слагаемые не обрусеют: мы не будем заправлять картошку водорослями, намазывать на бутерброды соевую пасту или добавлять квашеный лотос к пшену. Что-то нам мешает.

По-моему, мы ходим в японский ресторан как в открытый космос: страшно, но любопытно, и надо доказать, что мы можем. Конечно, можем. «Грибы ядовиты, но русские их едят», как сказано в одной немецкой энциклопедии. Знай наших!

Но мне и вправду хочется знать наших. Мне хочется, чтобы на всякую хитрую креветку нашелся рак с винтом: мы словно забыли, что русские раки – достояние не только пивных ресторанчиков, но и самого утонченного стола: раковый суп не уступит крабовому, рак настолько же возвышеннее омара, насколько юная девушка привлекательнее зрелой матроны.

Мне хочется, чтобы вернулись на правах коренных жителей грибы, не равнодушные промышленные шампиньоны, штампованные как гамбургеры, а настоящие, лесные, с прилипшим к шляпке листочком и небритой, как подбородок Леонида Парфенова, ножкой.

И мне хочется, чтобы в нашу кухню вернулись птицы небесные, с их темным мясом, пропахшим няниными сказками и еловыми шишками. Чистые, вольные, надышавшиеся воздухом диких лесов, насмотревшиеся с высоты на всю нашу прекрасную, просторную страну красными бусинками глаз, побежденные в равной борьбе, веселые до своего последнего мига и передающие свое веселье, свою радость жизни и нам, грешным и благодарным обжорам.

Неугодные лица

В 1970 году Севастополь ко дню Военно-Морского Флота украсили портретами вождей и основоположников. Лето, чудная погода; стою, любуюсь на клумбу, где портрет Ильича любовно выложен (или высажен?) каким-то темно-зеленым псевдокапустоидом по светло-зеленому фону. (Розетками этого растения в южных парках любят выкладывать даты на клумбах. Идешь купаться ночью, к примеру, 31 июля, а назад идешь, глядь – а уже 1 августа: в полночь приходил невидимый садовник и исправил календарь.) Стою, стало быть, погрузившись в размышления о неисчерпаемости изобразительных средств и о границах сакрального: а вот что будет, если сложить дорогие контуры из мусора, например из стоптанной обуви или консервных банок? Опорочит ли этот срач светлые черты, или же, напротив, святость и партийная благодать возьмут верх, преобразят и возвысят нечистые материалы? Поднимаю глаза и вижу странный плакат, хоругвь, волнующуюся на морском ветру: двойной портрет – Ленин и Энгельс.

Но ведь все знают, что это невозможно, это нарушение канона! Никогда Энгельс не изображается без своего бойфренда Карла, единственное исключение – если он подается сам по себе, как одинокий воитель, видный борец за признание человека обезьяной. Ленин плюс Маркс – пожалуйста, Ленин-Маркс-Энгельс – милости просим; в прежнее время хронологически-иерархическая цепь была, понятно, длиннее на сталинское звено. Но чтобы Фридрих, бледная тень, нахально лез вперед батьки, автора «Капитала», – вещь немыслимая во всех отношениях. Кому велено чирикать – не мурлыкайте, кому велено мурлыкать – не чирикайте. Не может Энгельс ну ни при каком раскладе сиять с нашим гением в одном ореоле как равный; и недаром Маркс и Ленин мыслятся как титаны, пронзающие мыслью будущее, Энгельсу же отведена роль обернувшегося в прошлое, в те немного стыдные времена, когда и будущий рабочий, и будущий крестьянин, торопливо отбрасывая уже ненужные хвосты, наперебой сбивали палкой протобананы с палеопальм, а меж ними путающейся под ногами прослойкой болтался будущий интеллигент, умудрившийся эволюционировать вровень с работягами чудесным образом – безо всяких палок, одной силой мысли.

Как зачарованная, глядела я на пробравшегося не по рангу в первые ряды Энгельса, разглядывала его густые черные брови, хитрый прищур, кавказские усы, – пока меня не осенило, что это –

Сталин, самый обычный Сталин, переделанный в Марксова дружка! Художник-варвар кистью сонной пририсовал тирану бороду, подправил лоб, побелил вокруг головы, набросил на френч почтенный Halstuch. Наверное, после 1956 года, или когда там до Севастополя докатился рокот XX съезда, местные власти решили срочно избавиться от икон, почему-то ставших неугодными в Москве, но как крепкие хозяйственники не стали выбрасывать парусину, а просто приклеили бороду, да и ладно. Так сосед дядя Сережа наденет ватную бороду и красную шапку – вот он уже и Дед Мороз.

Рачительность севастопольских партийных Плюшкиных вызывала сложные чувства: с одной стороны, приятно было сознавать, что режиму Сталин больше не нужен, а с другой стороны, случись что, ведь им ничего не стоит стереть случайные черты и вернуть тирану прежний облик; примешивалось и злорадство: вот, Энгельс хотел происходить от обезьяны, а произошел от «чудесного грузина». Еще я, помню, думала: чем перекрашивать эту сволочь, не лучше ли было совсем закалякать его черной краской, а еще лучше бы обоих, а совсем хорошо бы вообще все эти портреты крокодилов сжечь раз и навсегда, чтобы духу их не было. А еще повернуть время вспять. И чтобы малютка Джугашвили подавился чурчхелой, посинел и умер. А малютка Ульянов утонул в ванночке. А малютка Бронштейн упал с крыльца, причем неудачно. А малютку Шикльгрубера в далекой Европе чтобы ударила лошадь копытом. Родимчик, глотошная, сглаз, пупочная грыжа, корь, скарлатина. «Вы слышали, какое горе у мадам Апфельбаум? У мадам Берия?.. У Ежовых?.. У Дзержинских?.. Фрау Геббельс все глаза выплакала…»

…Товарищ Сталин думал точно так же, но в отличие от меня он свои черные мечты претворил в жизнь.

Белые начинают и выигрывают

О ретушировании и подчистке фотографий у нас писали много, но лучшее издание на эту тему из всех, что я видела, – недавно изданный в США фотоальбом Дэвида Кинга «Исчезающий комиссар» (David King, «The Comissar Vanishes», Metropolitan books, NY). Историк фотографии, в свое время заведовавший редакцией искусства в лондонской Sunday Times, Кинг увлекся коллекционированием советских фотографий в 1970 году – как раз когда я на берегу винноцветного моря размышляла о происхождении семьи, частной собственности и Энгельса. Но мое знакомство с сюжетом закончилось тогда же, когда и началось, а Кинг с тех пор собрал четверть миллиона фотографий, плакатов и прочих изображений советской эпохи. Опубликованный альбом содержит, понятно, лишь малую часть его архива, но составлен он на редкость хорошо: и тексты исчерпывающие при всей их краткости, и полиграфия на высоте, и отбор материала увлекательный – и смешно, и страшно, и поучительно. Центральный сюжет – орвелловский: искажение Сталиным советской истории через видеоряд.

Кинг воспроизводит, когда это возможно, оригинальный снимок и его отретушированный вариант, а иногда и несколько. Скажем, люди исчезают с фотографии один за другим, по мере их исчезновения из жизни или с политической арены. В периоды же оттепелей часть фигур, изъятых со снимка, внезапно возвращается: им снова разрешено быть. Так произошло с фотографией, снятой в 1908 году на Капри, солнечным апрельским днем. Ленин приехал навестить Горького и сел перекинуться в шахматишки с большевиком Богдановым. Игрокам пришли мешать и другие отдыхающие, среди них еще ничего не подозревающий будущий меньшевик Владимир Базаров. Вот он щурится от резкого итальянского света и застегивает верхнюю пуговицу пиджака. А в 1931 году его арестуют. А в 1937 – расстреляют. За спиной у жены Богданова стоит Зиновий Пешков (старший брат Я. Свердлова, взявший фамилию писателя). У Зиновия Пешкова необыкновенная биография: крестился, эмигрировал, стал французским генералом, потерял руку при Вердене, был военным советником при Чан Кайши, дружил с де Голлем, работал во французской секретной службе, умер в 1966 году 82 лет от роду. Вот играют – кто сидит, кто стоит; сбоку – чей-то пиджачный локоть, на переднем плане видна женская коленка, светлое платье, часть кресла.

Вариант 1939 года: Базаров два года как расстрелян и стерт

с фотографии. Зиновий Пешков, надо полагать, гостит у Чан Кайши – стерт. Коленка в светлом платье элиминирована, и пришлось подрисовать ноги Богданову, так что он теперь не отбрасывает тени… Бесхозный локоть тоже стерт. Фотография посуровела: вместо расслабленного отдыха на солнышке перед нами битва интеллектов: кто победит? Наверное, Ильич!

Вариант 1960 года: вернули Зиновия. Подумать только! Оттого ли, что он, хоть и блудный, но брат Свердлова? Оттого ли, что мы дружим с французской секретной службой? Оттого ли, что он был как сын родной пролетарскому писателю? Оттого ли, что крещен? Бог весть! И коленку вернули, либералы! Могли бы, кажется, и не стараться. А вот Базаров расстрелян навсегда: нет Базарова, никогда не было, не рождался, не садился в поезд, не забрасывал чемодан в синюю багажную сетку, не звенела на столике ложечка в стакане чая с лимоном, не мелькали за окнами европейские чистенькие коровы и аккуратные домики. Не платил за перевоз на Капри, не глядел на голубую воду, прикидывая, можно ли уже купаться. Еще холодно, Базаров, застегни-ка верхнюю пуговицу, тебя ждет расстрел и забвение. На том месте, где ты стоял, умельцы из Института марксизма-ленинизма нарисуют совершенно невозможную колонну, – верх ее ровным счетом ничего не поддерживает, низ погружен в черный, распыленный из пульверизатора туман, даже странный в такой-то солнечный день.

Ильич, кстати, эту партию продул и, по свидетельству Горького, страшно рассердился. Если разглядеть шахматную доску в лупу, то видно, что продует: Богданов играет белыми, и фигур у него больше. Будь я цензором в 1939 году, я бы, наверное, Ильичу пририсовала много-много фигур, да все ферзи, все ферзи. А Богданову – одну пешку, и то маленькую.

Черный воротник и белый снег

Сюжет, давший название альбому, состоит из серии фотографий, снятых с интервалом в несколько секунд фотографом Леонидовым 7 ноября 1919 года на Красной площади. Как всегда в этот день, идет снег. Шапки, воротники, фуражки – все в мокром снегу. У всех лица довольные, неофициальные, тут же дети какие-то, мальчишки, тоже радуются… Ну-с, лирику в сторону. Троцкого выбрасываем вон, как будто он и не стоял впереди Ленина на полшага, – рука под козырек, локтем загораживает ленинский каракуль. Рядом с Лениным образуется дырка, будто бы толпа шарахнулась от него, как от чумного. Это выглядит странно, но внимательному читателю страннее другое: посреди занесенной снегом толпы стоит товарищ, которого погода не берет: у него, единственного, на черный воротник не упало ни снежинки. А шапка и рукава в сугробах. Сопоставление отпечатков с оригиналом проясняет истину: своей стойкостью, резистентностью большевик обязан гибели Арташеса Халатова. Халатов разоблачен, расстрелян и стерт. А пока он был жив, враг народа своей дурацкой папахой загораживал шею и грудь неопознанного товарища, и после расстрела пришлось от руки пририсовывать тому скромный черный воротник, вот только снег изобразить забыли. Чтобы совсем было смешно: пока Халатов был жив, он вертелся, двигался, а Леонидов все снимал, и вот на одной из неотретушированных еще фотографий видно, что у снегоиммунного незнакомца воротник-то от природы не черный, а белый; хорошее такое пальто, крепкое, сшитое до революции.

Всех гнать

На Втором конгрессе Коминтерна 19 июля 1920 года народу было много. Сделали фотки, напечатали альбомы, довольные депутаты увезли альбомы по домам. Так на Западе сохранились нетронутые свидетельства этого дня. В России же с фотографий убрали всех, кроме самых главных. На одном отпечатке стерли 27 человек, чтобы ничто не мешало Ленину остаться наедине с Горьким. Облупленные балясины Дворца Урицкого в Питере на снимке отремонтировали; в жизни Ленин стоял одной ногой в каком-то мусоре, – мусор подчистили, так что нога В. И. не касается земли. Ботинки и вождю, и писателю начистили – любо-дорого посмотреть. Подорожники пропололи, а сорную траву загримировали под здоровые стебли какого-то растения с неясной ботанической принадлежностью – так, вообще флора. В 1980-е годы – страшный либерализм – публика вернулась на прежние места. Правда, печатали только центральную часть снимка, все те же Ленин и Горький, зато честно видны все, кто стоял за их спинами в тот памятный день. И мусор вернули под ноги. Но – чудная деталь – и в оригинале, и даже в варианте 1933 года Ленин стоит, засунув руку в карман так, что мизинчик торчит, как бы свисает. В либеральные восьмидесятые кто-то бережно подправил пальчик, вложил Ильичу в карман, а брюки отчистил от прилипшей беловатой дряни. Так заботливые матери подтыкают дитяти одеяльце на ночь и вытирают носик.

А вот в том же 1920 году Ленин и Крупская поехали открывать электростанцию в Кашине и сфотографировались с группой кулаков (на заднем плане) и детей (на переднем). Через 19 лет со снимка были стерты ВСЕ взрослые и часть детей. Понятно, почему. Смотришь и думаешь: вот этот смеется, а его больше нет. Этот смотрит испуганно – и его нет… И дальше – обвалом, по всей книге: этих нет, и этих уничтожили, и вон тех, и тех… Альбом Кинга надо бы перевести на русский язык и раздавать коммунистам бесплатно, по предъявлении партбилета.

Смех и грех

Сестра Ленина Мария Ульянова гордилась своим талантом фотографа. Приехала в Горки, сняла Володеньку в шезлонге и Наденьку рядом с мужем на скамейке. Супруги на отдыхе зачем-то смотрели в телескоп. Талантливая Мария Ильинична телескопа не заметила, и в результате на снимке изумленный зритель видит нечто вроде ствола ружья, упирающегося в висок Крупской. Конфуз попробовали исправить в 1960 году, но как-то робко: отодвинули трубу телескопа от виска, так что невидимый стрелок словно бы примеряется: пустить ли Надежде Константиновне сразу пулю в лоб? или допросить сначала? В 1970 году отодвинули прибор еще на полметра, лучше не стало. Наконец в конце восьмидесятых решились и стерли телескоп к черту, заменив листочками. Область научных интересов супругов-материалистов сузилась, зато честь сестры была восстановлена. Либо наука, либо искусство, приходится выбирать.

Но Ленин, в конце концов, был из приличной семьи, получил образование, принадлежал к тому специфическому кругу, где на искусство плюют, на свою внешность тоже. Брюки винтом и заплеваны – ну и что? Понятие имиджмейкер-ства было ему, судя по всему, чуждо. Сталин же, невежественный, ущемленный, закомплексованный, понимал важность изображения, правильной подачи образа. На известной фотографии семьи Ульяновых, – детей и взрослых, – всегда поражает лопоухость дружного семейства. А им все равно, фотография, похоже, всегда печатается как есть. Не то Сталин. В альбоме воспроизведен рисунок Н. Андреева: портрет Сталина, датированный 1 апреля 1922 года. На отпечатке будущий тиран написал красными чернилами: «Ухо сие говорит о том, что художник не в ладах с анатомией. И. Сталин». И подчеркнул свою подпись. И поставил на ухе жирный красный крест. И еще раз написал, пониже: «Ухо кричит, вопиет против анатомии. И. Ст.». Между тем – ухо как ухо, и не оттопырено, и вообще не та часть головы, на которую стоило бы обращать внимание. Глаза на портрете – да, глаза настороженные, хитрые, опасные. Но о глазах ни слова, а вот далось ему чем-то это ухо – отчего бы? «У царя Мидаса ослиные уши»? «Уши торчат»? «Узнают волка по ушам»?

Позже ему разглаживают лицо (на снимках, портретах, скульптурных изображениях), исчезают оспины, молодеет кожа, разглаживаются и чернеют волосы, морщины убраны, и лицо наливается внутренним светом. Глаза мудрые и уставшие. Рост

все увеличивается, плечи широкие, стройность совершенно античная. Порой он совершеннейший микеланджеловский Давид, только в смазных сапогах, и их блеск зеркален. Одновременно с тем он осенен благородной сединой, плотен, сыт и сед; на юбилейной обложке «Огонька» (номер 52, 1949) его голова в фуражке сияет в вечернем небе и вроде бы освещена прожекторами, но и сама источает свет: лучи расширяются книзу, к земле. Все фотографии, где он малорослый, рябой, темнолицый, коротконогий, притулился к группе более породистых товарищей, уже исправлены. Товарищи стерты и в реальности, и в виртуальности, он один делал революцию, душил врага, возводил плотины на реках, освещал электрическим светом страну, вел народ и так далее; всё сам. Сам и людей убивал. Исчезновение семьи, частной собственности и человека.

Какая насмешка судьбы, что после смерти ему подвязали бороду самого ненужного из марксистов.

Черные лица

Врага надо знать в лицо. Но у побежденного врага вообще не должно быть лица. Самые страшные страницы альбома – те шесть, где лица замазаны. В 1934 году ОГИЗ заказал Александру Родченко альбом «10 лет Узбекистана». Книга вышла по-русски, через год – по-узбекски, а в 37-м пошли расстрелы. Книга стала опасной, и причем опасной для самого Родченко: ведь создавая ее, художник, можно сказать, порождал врагов народа. И вот Родченко берет черную тушь и замазывает лица в собственном экземпляре книги, одно за другим, одно за другим – я тебя породил, я тебя и убью. Пиджак, плечи, воротник, галстук, – а над ними круглая или квадратная непроглядная тьма. Дыра. Провал. И имя вымарано. Только внизу: «… blan hamda proletar… bolgan bolseviklar partiasi…» – мертвый след, подобный узору надписи надгробной на непонятном языке.

Рассматриваю эти зияющие провалы, – а чего там рассматривать, там же нет ничего? – рассматриваю это «ничего» и все менее уверенно думаю о своих собственных желаниях: повалить бы вон тот памятник, замазать бы вон те лица, взорвать бы вон тот домик… Один из зачерненных в альбоме Родченко – Яков Петерс, палач и садист. Народу погубил – не счесть. Расстрелян в 1938-м, замазан тогда же. Этот убийца уж точно заслужил пульсирующую тьму и вечный скрежет зубовный, правда? Да? Да или нет?

Но не мне отмщение и не аз воздам.

Кашин и другие

Много-много лет назад ЮЛ, ВБ, АГ и АС и я ехали на машине из Москвы в Петербург.

Не спрашивайте, почему. Так надо было.

По дороге, где-то на полпути, захотелось выпить. Молодые были. «Отчего и не выпить»? – подумали. Кто за рулем сидел, пить не стал, а остальные заинтересовались этой идеей и зашли в придорожное кафе.

Оглядели полки – время было малокапиталистическое, послекризисное, и ничего хорошего нам предложить не могло. Бутерброд какой-то без божества, без вдохновенья. Что-то ужасное с майонезом. И водка, да, водка была. Но очень опасная с виду.

Такое было время – запросто могли метилового спирту налить. Помрешь, не доехав до Малой Вишеры.

– А вот какая-нибудь получше водка есть? – спросили мы.

– «Вереск Кашина», – не сразу и с неприязнью отвечала продавщица. – Но она дорогая. Элитная.

Ей неприятна была наша разнузданная роскошь, наши олигархические замашки. Мы уточнили цену. «Кашин» стоил 60 рублей. Посовещались. Взяли. Расстались с продавщицей совсем врагами.

Расстелили в сосновом лесу, среди кустов, одеяльце для сидения. Мане, «Завтрак на траве». Разрезали неинтересные бутерброды. Разлили водку по каким-то нашедшимся рюмочкам.

Пригубили. Пить это было нельзя. «Вереск Кашина» был синеватым, жутко вонял сивухой и как-то резко вступал в контраст с кукованием сельских птиц, просвечиванием лучей через листву и другими признаками пасторали, на которые мы, городские жители, возложили уж было надежды. Нехорош был элитный вереск.

К тому же, немедля прилетели какие-то особо крупные комары, накинувшиеся на нас с жадностью и немедленно откачавшие из нас литры крови. А еще из кустов вышла женщина из местных и предложила купить у нее товар. Кажется, это были манометры для измерения давления, но я могу и перепутать. Может быть, это были астрологические амулеты. В те годы тебя могли остановить прямо на улице, в подворотне или вот прямо в лесу среди кустов и предложить тебе что-нибудь нужное. Часы Ролекс, например. Мне целую связку Ролексов предлагал восточный человек на Ордынке, у него в пластиковом пакете их много было.

Короче, Моне не задался.

Делать нечего, мы скрутили одеяльце, матеря комаров, завернули невеселые бутерброды и закупорили «Кашина». Почти целый был. Закупорили и поставили на пенек. Вот пройдет по лесу потерявший веру в Господа местный житель, подумали мы, на душе у него будет смутно, в кармане пусто, а опохмелиться надо. Вот пройдет он такой, зигзагами, спотыкаясь, мечтая хоть о каком стеклоочистителе, и вдруг – эвона! да не снится ль это мне? – на пеньке элитная, дорогая водка «Вереск Кашина», ну и что, что откупоренная. И будет счастье человечку.

Кто он был? Нашел ли? Взял ли? Был ли хоть на миг счастлив?

Лето, оно длинное.

Ardo

В начале девяностых я купила игру Сим-Сити для компьютера Макинтош. Она и сейчас существует, но мне больше нравилась та первая версия. Кто забыл или не знал правила – напомню.

Вы губернатор, и у вас есть неосвоенная территория произвольной формы. Надо построить на ней город. Бюджет – 5000 долларов в год.

У вас есть определенный инструментарий, например, бульдозер. Надо выровнять площадку, затем разбить ее на зоны: жилая зона, зона легкой индустрии (видимо, магазинчики и экологически чистые предприятия), зона тяжелой промышленности (то есть где вонь и грохот, и рядом с которой жители жить не захотят). В жилой зоне надо посадить деревья. Каждый квадратик, выровненный бульдозером, стоит, допустим, пять долларов. Каждое посаженное дерево – три.

Кому уже скучно – дальше не читайте.

Жилую зону надо разбить на кварталы, проложить дороги. Если дороги проложены правильно, по ним сейчас же сами пойдут человечки с чемоданами и поедут, бибикая, маленькие автомобильчики. Человечки начнут строить домики и сажать садики. Какое сердце не умилится при виде этой картины!

Но прежде, чем они заселят домики, надо провести электричество и подвести воду. Можно поставить несколько ветряков – это дешевле, но они дают слабый ток. Можно мощную электростанцию – но бюджет почти истрачен.

И тут к губернатору – то есть ко мне – приходят советники. Один указывает на необходимость построить пожарную станцию. А то пожары. Смотришь – и впрямь вон там то один, то другой домик внезапно охватывает пламя, оно перекидывается на другие дома, раз – и весь квартал выгорел. Что за черт… Опять чини, опять плати. ЖКХ проклятый!

Другой докладывает: жители просят больницу. Жители просят полицейский участок. Жители просят школу. Жители, наконец, просят тюрьму!

А годовой бюджет меж тем накрылся медным тазом. Что же делать? с чего начать? не построишь школу – приходит народный лидер, попрекает вас, хмурится, указывает на волнующуюся толпу за окном. Не построишь полицейский участок – в городке учащаются грабежи. И советники вам предлагают залезть в кредиты, провести дорогу к соседям и тем самым попасть в долговое рабство, или еще что-нибудь унизительное для вашего губернаторского достоинства. Огорчают меня.

А между прочим, эти мерзкие жители (что за дрянное население мне досталось!), которые все время чего-нибудь просят, сами, безо всяких просьб, строят себе церковь! Я пробовала ее взрывать. Нет, строят снова! Если тюрьму взорвешь, или вокзал, они сами не отстроят, проверено. Только церковь.

Задолбали совсем.

И вот выяснилось, что у этой игры есть специальные «читы», коды такие: если ввести их на клавиатуре, то можно обмануть игровую программу. Один, главный чит был такой: печатаешь на клаве слово porntipsguzzardoardoardoardo, и чем больше этого ardo ты напечатаешь, тем больше у тебя денег окажется в бюджете.

Надо ли говорить, что я быстренько напечатала себе миллион. Сию же минуту исчезли раздражавшие меня советники. Затем я не скупясь оборудовала городок дорогими электростанциями, выдала жителям университет, лучшие госпитали, разбила парки и проложила озера. Потом я даровала им железную дорогу, аэродром, марину с корабликами и яхтами, парк с колесом обозрения и прочими развлечениями. И хватит с них.

Потом я занялась собой. Губернатор я или кто? Я построила себе высокую гору на окраине городка. Проложила к себе дорогое шоссе. По сторонам густо все засадила деревьями, раскинула озёра сложной формы, установила на них водопады… Принялась строить губернаторский дворец и наращивать вокруг него сложные лесные рельефы. Соловьи откуда-то взялись и засвистали в моих губернаторских деревьях.

Тут я смотрю – по моей губернаторской дороге посмели ездить какие-то автомобильчики! Естественно, я загородилась от непрошеных народных масс! Поставила валы и прочие непреодолимые преграды! Завела себе вертолетную площадку, потом вообще частный аэродром! Город мне начал мешать, и я прирезала себе часть их территории. Уничтожила на хрен всю их тяжелую индустрию, обойдетесь. Без этой индустрии у них началась безработица, и их домишки прямо на глазах приходили в запустение: хирели, коричневели и заваливались. Во дворах рос очень художественный бурьян, а дороги покрывались кротовыми кучами, и автомобильчики уж проехать не могли.

Они там бродили такие потерянные, а я продолжала улучшать свои жилищные условия. Сады висячие построила, завела красивые ущелья, перекинула мосты. Купила невероятно дорогой экологический дом, который сам выращивал огурцы и цветы – денег-то мне было девать некуда. Сделала насыпи

в море, и там, на безопасном расстоянии, устроила космодром и решила летать в космос. А чё?

Они все ходили туда-сюда и иногда строили церковь.

– Не поможет вам ваш бог! – говорила я. И взрывала ее.

Я обнаружила в списке природных катаклизмов землетрясение и торнадо. Забавно было напустить на них хорошее землетрясение. Сразу половина домов разрушалась. А уж когда над руинами ходили воронки смерчей – ууу…

Под конец я наслала на них все мыслимые казни египетские и в довершение – летающую тарелочку с инопланетянами, а сама как Нерон любовалась со своей неприступной горы на пылающий и взрывающийся город. Знатное было пламя.

Ни у какого Юрия Михалыча не было такой безграничной власти, как у меня. Валентина Иванна передо мной была жалкая мокрица. А главное, никакой пачкотни с интригами там, откатами, подлогами. Ardo, ardo, ardo – бездонная скважина бабла.

Я была чистое зло. Пошла себе чаю заварить, в зеркало посмотрелась – даже страшно было с собой взглядом встретиться.

Естественно, я с тех пор не голосую.

Ползет!

На этой неделе я ничего не собиралась покупать. Но пришлось. Выданная накануне вечером зарплата за ночь сама по себе усохла на одну четверть, а озеленение своего финансового садика я провести не успела. Пункты выдачи зелени закрылись, и постный Франклин поджимал губы в кошельках других счастливцев. «Чего бы такого купить? – лениво думала я утром в четверг. – Куплю-ка я себе новые занавески». И не спеша, нога за ногу, отправилась в магазин «Русский лен» на Комсомольском проспекте. От людей я слыхала, что в магазине «Русский лен» продают русский лен – решение нетривиальное, надо сказать: ведь название в наши дни совершенно ни о чем не говорит. Так, скажем, в моем районе есть магазин «Кураре», торгующий не стрихнином или ипритом, но вполне доброкачественными и недорогими продуктами; магазин «Партия», где никогда не встретишь дедушку Зю с красными флагами, а также «Лавка жизни», где можно приобрести ошейники для собак и искусственных мышей для котов (вот так и всегда: собаке – кнут, коту – пряники).

Но «Лен» действительно оказался магазином тканей. Конечно, 80 процентов тряпочек были турецко-сирийским ширпотребом, более пригодным для сельских гаремов; 10 процентов – поставки из Белоруссии и Словакии (могли бы не трудиться поставлять), там-сям попадались западноевропейские вкрапления – какой-нибудь королевский багрянец, усеянный бурбонскими лилиями, вполне годный, чтобы подтирать пол, если вокруг джакузи накапано. Но остальное было самым настоящим льном, бесконечно дешевым, вроде 11 рублей за метр. Нужен он мне или все-таки нет? – задумалась я и пошла прогуляться по чуждому мне проспекту, чтобы решение о покупке как-нибудь там само созрело в голове. Жизнь на проспекте шла своим тихим чередом. В одном магазине я не купила лампу (теперь именуемую светильником) за 1750 рублей, в другом – прекрасно обошлась без лампы за 2800 (красный шарик на нитке). «Это вчерашняя цена, – пояснили мне. – Сегодня уже 4600».

Не успела я осознать эту информацию, как вдруг наступила мертвая тишина, как перед приходом торнадо, потом произошло перешептывание и шевеление, выбежали охранники с мобильными телефонами, раздался сдавленный крик: «Закрывай!», и двери заложили на засов. Я и женщина, надумавшая купить чайник в форме зайца, в панике бросились

вон из посудного отдела, решив, что магазин приступом берут ваххабиты. «Что случилось?» – «Пополз!» – крикнул кто-то в пятнистой форме, пробегая. «Кто?!» – «Курс!» – «Так сколько же теперь?..» – вскрикнула женщина, потрясая электрозайцем. – «Не знаем!.. Ползет!..» Я почувствовала, как деньги в моем кармане ухнули и осели, как мартовские сугробы в романах Тургенева.

Пылесос! Вот что мне нужно! Он дорогой! Я прорвалась через кордон охранников, передергивавших затворы над оранжевыми синтетическими скатерками, и бросилась в соседний магазин – бытовая техника. Там уже скопилась небольшая лужица людей, обдиравших ногти о запертые двери. «Технический перерыв!» – кричал менеждер через пуленепробиваемое стекло. «Знаем ваш перерыв, – перемать, – видак продай!» – кричал нервный мужчина с нашей стороны. Но менеджер и его охранники расплылись за темным стеклом, как рыбы, ушедшие в глубину. Я помчалась к торговой палатке и скупила все восемь пачек «Явы – ответного удара», впрочем, успевшей подорожать. Так! Теперь занавески. Лен? К черту лен! Накуплю самой дорогой шерсти! Это на Ленинском, в «Доме тканей», но бешеной собаке семь верст не крюк. Может, они еще не знают, что он ползет. Я махнула рукой – и три машины с визгом притормозили.

«Плачу двадцатку», – спохватилась я уже на полдороге.

«Да какая разница», – удивительным образом отозвался шофер.

На дороге застрял огромный белый свадебный лимузин; на капоте трепыхался букет цветов, дверцы были распахнуты, внутри пусто – машина явно сломалась. Но ощущение было такое, что жених с невестой, услышав по радио о том, что «он ползет», бросили машину и рванули – как есть, в фате и лаковых ботинках – в ближайшую торговую точку, – будь то бутик с крокодиловыми пиджаками или ларек «American Sasisk», чтобы скупить товары на корню, пока еще дают.

Через десять минут я уже вбегала, запыхавшись, в вожделенный магазин, но продавцы «Дома тканей» опередили меня: они бежали впереди, зашпиливая бумажными полосами отныне запретные, недоступные импортные полотнища: где-то в незримых финансовых эмпиреях беззвучной волной вздымалась цена на немецкое, турецкое, французское, испанское – как в малярийном бреду. Часть покупателей еще не понимала, что происходит, другие, быстрые разумом Невтоны, всегда в изобилии порождамые русской землей, уже вовсю партизанили, отшпиливая бумагу от понравившихся тряпок, делая вид, что так всегда и было. Их разоблачали, вспыхивали забытые советского

типа свары; у кассы уже стояла длинная и покорная советская очередь. Я купила километр ткани: не то, что хотела, а то, что было. Мы с кассиршей запутались в деньгах: она считала в новых, я, по привычке, в миллионах, одновременно пересчитывая их на у.е. А потом, все еще в неостывшем раже приобретательства и накопительства, я накупила ниток на третье тысячелетие – рублей эдак на восемь – и опять запуталась.

«Я вам должна еще полтинник», – сказала я продавцу.

«Да х… с ним, с полтинником», – по-доброму отвечал продавец.

Процесс пошел.

Август 1998

Случайные дни

Глаза разуйте

Выражения типа: «расселась!», «разбежался!», «нажрались!» и тому подобные произносятся с особой интонацией, не знаю, как ее описать. Я же не специалист по невербальной коммуникации, я всего лишь внимательный слушатель.

Интонация на письме плохо передается. Приходится обозначать ее как-то, худо-бедно, знаками препинания. Так, если глагол «разбежался» произносится ровным голосом без малейших модуляций, он будет означать именно факт разбега, то есть в нем выступит прямое значение. «Бегун разбежался и прыгнул», или упал, там.

Когда говорят: «разбежался!..» с насмешливой интонацией, притом в ситуации, когда никто никуда не бежит (ларек закрыт, хрен вы что получите), то значение глагола заметно меняется и обогащается. Тут действие не констатируется, а подвергается насмешке/осуждению/пренебрежению/унижению.

Очень также распространены высказывания: «вырядилась!», «куда по помытому?!», а уж что говорят некоторые молодые мамаши своим деткам! «На тебя, свинью, не настираешься!» – и это еще серенада.

Помню, мне отец рассказывал: сценка на улице, двадцатые годы, Ленинград. Идет мать, красная беретка на голове, папироса в зубах, волочит за руку прехорошенькую малютку лет трех, едва за ней поспевающую. И сквозь зубы, малютке: «Умоисся кровью, гадина…»

Тут богатый материал для чего хочешь – вот для лингвиста, например, – но я зайду со стороны психологии. Вот этот лай, этот вид хамства при ближайшем рассмотрении есть манипулятивный прием, используемый с целью ослабить противника (унизить, осудить, осмеять). Овиноватить. Парализовать. Это психическая атака.

Вот противник (например, в очереди к врачу) сидит, ждет. Ему и так не очень. Вы выскакиваете из медкабинета в белом халате и, с особой интонацией: «Чего расселись? Я, что ли, за вас (что-нибудь там делать) буду?» Противник обычно теряется и мысленно как бы оглядывает себя в поисках прорех и пятен. Вот и пробой в силовой защите. Вот жертва уже ищет причины неудач в себе.

Если вы гардеробщик – обвините владелицу шубы в том, что у нее петелька не пришита. На всех плечиков не напасешься! Вот-то она уйдет расстроенная, боясь, не высморкались ли вы в ее каракульчу, пока она музыку там слушает или ужинает (то есть

бездельничает или жрет). Если вы охранник в какой-нибудь очереди, рявкните: «Куда лезешь? Куда прешь?» – и противник, который только что знал, куда он направлялся, только что еще уважал себя, теперь низведен до того, кто «лезет и прет», до охлоса, до барана. Это – ваш путь к власти. Еще фараоны изображались крупными фигурами, а взятые в плен всякие там враги и супостаты – мелкими людишками, просто тьфу. Куда прете, народы моря?..

Если кто-то думал так, а потом понял, что ошибся, и стал теперь думать иначе, не дайте ему сохранить лицо. Скажите: «То-то и оно-то!» Если кто-то при вас поскользнулся, подвергся унижению, не смог, не сумел, опоздал, выронил и разбил, – смело осклабьтесь и скажите: «Поделом». Всё это – ступени вверх.

Поразительно, но люди, считающие себя «интеллигентными» и тем гордящиеся, теряются, тушуются и робеют при столкновении с бытовым, жлобским хамством. Не опознают в хамстве прием властного захвата. На Триумфальную площадь сходить – это пожалуйста, в одиночном пикете постоять – за милую душу, а гардеробщика осадить – не смей, он мало получает и несчастен. Вахтерше возразить не моги. Слесарь-водопроводчик – вообще хан Батый, кто мы против него? «Вонзил кинжал убийца нечестивый в грудь Деларю. Тот, поклонясь, сказал ему учтиво: Благодарю». При этом те же интеллигенты не жалеют чувств и слов, чтобы выразить свой протест против «власти», усматривая в ее носителях какую-то специальную, зловещую неотмирасегосинку. Как будто ее представители вылупились из особых коконов в особых инкубаторах.

Власть, меж тем, вырабатывается ежеминутно и повсеместно через хамство, через манипуляции, в том числе речевые. Наш прекрасный язык необыкновенно богат манипулятивными возможностями, не только лексическими, но и интонационными. А также синтаксическими. А также смысловыми.

«Едут-едут, а куда едут – сами не знают», – злобно сказал при мне один писатель-почвенник в адрес потока машин, мешающего ему пересечь улицу на красный свет. Писатель тщился обессмыслить владельцев машин – своей-то у него не было, и он, и я должны были сесть на автобус, который вез нас куда-то там выступать. Писатель хотел повысить свой социальный статус, перескочить на другую электронную орбиту, взять новый уровень власти. Но тщетно.

Стандартный разговор в совковом магазине: «А сколько стоят (пряники) (галоши) (килька в томате)?» – «Глаза разуйте. Ценник для кого повешен?»

В «Красной Бурде» в свое время тот же разговор был

представлен в форме хокку:

«Покупатель спросил,
Сколько иен стоит риса кило.
Наверно, без глаз».

У врага нет глаз, ума, физической силы, роста, денег, он задохлик и хлюпик, клуша и тетеря, у него импотенция и волосы выпали. Он ничто, и нечего с ним считаться. Хопа! – и ты стал выше его. Вот почему жлоб принимает вашу интеллигентскую безответность, вашу деликатность за слабость. Она и есть слабость. Она есть готовность к поражению.

Интеллигенция не боится Большой Власти, а боится власти маленькой. Интеллигенция хочет чувствовать не равенство свое с другими, не превосходство (боже упаси! боже упаси! Как можно даже подумать об этом!!!), нет, она хочет самоумалиться, принизить себя, надеть вериги и власяницу, исполниться кротости и смирения, не обидеть, не задеть, нехороших слов не говорить, забыться, затаиться, затеряться. Чтобы на том свете (пусть и метафизическом и умозрительном) ангелы прилетели поздравлять ее за духовную стойкость с каллами и хризантемами.

И какая же в этом лютая гордыня, господи ты мой боже.

Уроки химии

От школьных уроков химии в голове ничего не осталось, а ведь родители старались, и купили мне набор «Юный химик», и соблазняли выращиванием голубых кристаллов (купороса?), изготовлением модели какого-то серого, немножко вонючего вулканчика, настоящего, со зловещим огоньком внутри, а еще что-то там нужно было поджечь спичкой, и из крошечного шарика начинал расти, пухнуть и стелиться по столу устрашающий белый червь. Не помогло.

Запомнились только запоминалки: «Калий, натрий, серебро – одновалентное добро».

Или:

«Сера, сульфур, буква S,
Тридцать два – атомный вес,
Сера в воздухе горит –
Получаем ангидрид.
Ангидрид да плюс вода –
Это будет кислота».

На этой вот химической реакции построен целый американский фильм, многие его знают, названия не помню. Там должно вот-вот произойти извержение вулкана, но власти скрывают: а ну как мы отвратим туристов от нашего прекрасного живописного городка! А зловещий пипец все ближе!..

Вот прекрасный молодой человек с прекрасной девушкой полезли заниматься любовью в горное озеро (никогда не могла понять, в чем тут кайф; еще в душ, я понимаю, но в холодное озеро с возможными пиявками?), и вот только они ухватились друг за друга, как аааааааааааа!!! – страшный вопль, и они гибнут, что такое? только белые прекрасные попы колышутся на воде.

Зритель еще не догадывается, он еще не понимает, но мы! мы, помнящие школьную запоминалку, шепчем про себя: «ангидрид да плюс вода – это будет кислота»! Каким образом небольшое количество ангидрида, проникшее, очевидно, в озеро через трещины в скале, могло превратить воду в кислоту – это вопрос к сценаристам, но мне, с моей двойкой по химии, понравилось.

Там дальше еще лучше: когда уже землетрясение и извержение бушуют вовсю, в огненную пропасть рушатся

эстакады с десятками автомобилей и всё такое, – герои, Он и Она, плюс ее дети от первого брака, плюс ее свекровь, тоже от первого брака доставшаяся, то есть бабуля этих детей, плюс собака плывут, отчаянно гребя, на лодке, а лодка металлическая, другой не нашлось. А ангидрид да плюс вода уже делают свое страшное черное дело! Водоем, по которому они плывут, прямо на глазах превращается в адский тазик с серной кислотой, и эта кислота с бешеной скоростью устраивает коррозию металла! вот сейчас днище превратится в решето! вот сейчас перегруженная лодка потонет, – не догрести нашим героям до спасительного берега!

Тогда героическая бабуля (понимая, что по сценарию она тут лишняя), прыгает в кислоту! Все – ааа!.. Не надо!.. Но она такая: живите! Мне тлеть… и тлеет прямо вот на глазах; мне бы такое показывали в школе, в седьмом классе, у меня совсем другой аттестат бы был!

Герои доплывают до берега (еще мгновение, и коррозия уничтожает их утлый челн) и секунд 15 грустят по бабушке. Но некогда нюни разводить, надо бежать; они бегут, по дороге теряется семейная собака, и вот уж это горе так горе. Это вот да. Отчаяние искажает чистые, прекрасные лица детей. Мать взволнована, бойфренд тоже хмурит свои чудные брови, насколько позволяет ботокс, но надо бежать! Надо бежать! Еще несколько шоссе мощно рухнули в разверзшуюся геенну, туннели винтом, рельсы дыбом, ад и муки египетские.

Но все, понятно, для них кончается хорошо, и под конец, когда Она понимает, что Он – это ее счастье, а до Него тоже это доходит, а дети уже его полюбили больше, чем родного отца (который был негодяй и не ценил), откуда-то возвращается невредимая собака, и тут, понятно, апофеоз и окончательный, безоговорочный, бесповоротный хэппи-энд. Только где-то вдали дотлевает белый, как скелет Левиафана, остов бабули. Но это пусть.

А про калий, натрий, серебро такого фильма пока не сняли.

G.W.

У меня есть примерно семь черненьких кофточек.

Борцам с уменьшительными суффиксами не понравится моя фраза, они хотели бы прочитать «семь черных кофт». Но у меня нет такого ужаса – семи черных кофт, так же как нет помела, котла для варки ядовитых трав и непроглядно-черного кота; нет, у меня есть примерно семь черненьких кофточек.

Черненькие кофточки – совершенно необходимая, интегральная часть защиты от порчи. Подобно тому, как белый цвет отражает лучи света, и потому летнюю одежду советуют носить белую, черный цвет отражает лучи порчи, насылаемые врагами и вампирами. Черный цвет – это ночь, тьма, слепота, ничто; в темноте не найдешь, пропадешь; лучи порчи пропадают в ней, теряются, сначала закручиваются спирально, как короткие цветные макароны, а потом утрачивают силу и вяло растворяются в пространстве без сторон света (и без сторон тьмы).

К науке это не имеет ни малейшего отношения, не надо даже беспокоиться возражать, – вставать с места, суетиться, открывать рот. Не надо.

Это кофточки с короткими рукавами, круглым или V-образным вырезом, шерстяные, шелковые, х/б или же смесь этого всего. Плюс две-три черных майки без рукавов. Всего примерно семь, но может быть, и больше, не исключаю. В этом-то и проблема: я никогда не могу собрать их вместе, рассортировать и пересчитать.

Среди них есть одна любимая, даром что старенькая; на ярлычке у нее, на шее который, написано G.W. Я не знаю, что это за фирма такая, посмотрела в Яндексе – а там: «8-см миномёт образца 1934 года (нем. 8-cm Granatwerfer 34, сокр. 8-cm G.W.34) – немецкий 81-мм миномёт образца 1932 года. Миномёт был создан в 1932 году фирмой “Рейнметалл”». Вроде бы не то?

Так вот, каждый раз, когда я думаю ее надеть, она исчезает. Не могу найти. Вариантов не так много: в комоде, второй ящик сверху. Иногда первый. Или в шкафу. Либо на полочках, либо на плечиках. Шкафов – технически – два. На самом деле, как я подозреваю, их значительно больше, потому что я в ясном разуме вешаю в них вещи, и примерно через неделю не могу их найти, хоть кричи и плачь.

Иногда я делаю полную ревизию гардероба, в рассуждении чего бы выкинуть, но, конечно, никогда ничего не выкидываю, так как у меня синдром Плюшкина и я не могу расстаться с предметами, ведь они живые. «Ну, сейчас нет, но потом, может

быть, как-нибудь, я этот шарфик еще поношу», – думаю я и укладываю шарфик в склеп еще на полгода, до нового сезона развевания на ветру.

Вместо исчезнувшей кофточки G.W. мне в руки бросаются пять-шесть-семь других; повторяю, общее их число неизвестно. Мучительная борьба – и я смиряюсь, надеваю одну из них, суррогатных, и свыкаюсь с ней. А через пару месяцев лезу в шкаф – а G.W. уж там, преспокойно висит себе на плечиках, вытягивается и портится, когда ей бы полежать на полке! Зато другие, которые вот только что толкались и суетились перед моими глазами, исчезают.

Я думаю, – почти уверена – что в глубине моих так называемых двух шкафов существует еще сложная система перегородок, лестниц и дверей, там есть потайные ходы, как в английском замке, подземелья и сухие камеры, где развесил свои кружева паук. Туда уходят мои вещи, некоторые навсегда, – значит, душа у них такая оказалась, грустная и молчаливая, – некоторые так просто, сбегают зазеркальный мир посмотреть и возвращаются.

Мне эти шкафы строил один человек, неуютный и молчаливый; бог его знает, что он там настроил; я рада была, когда расплатилась и он ушел.

Расплатилась ли?

В «Капитанской дочке», в самом начале, замечательна та стремительность, с которой Пушкин вводит в текст персонажей; ну, первым, понятно, открывает глаза рассказчик, Петруша Гринев, и тут же, сразу, в десяти строках, выстраивает иерархическую модель своего детства: отец, матушка, Савельич, француз.

А дальше, уже в целых двадцати строках, он рассказывает историю француза, мосье Бопре, от момента его появления в доме батюшки до того момента, как его прогнали со двора. Чем занимался француз в качестве гувернера? Пьянствовал и шлялся по бабам.

«Он был добрый малый, но ветрен и беспутен до крайности. Главною его слабостию была страсть к прекрасному полу; нередко за свои нежности получал он толчки, от которых охал по целым суткам. К тому же не был он (по его выражению) и врагом бутылки, то есть (говоря по-русски) любил хлебнуть лишнее».

Выгнали же его после того, как рябая Палашка и кривая Акулька «как-то согласились в одно время кинуться матушке в ноги, винясь в преступной слабости и с плачем жалуясь на мусье, обольстившего их неопытность». Батюшка прибежал выгонять учителя, но мосье спал: «несчастный француз был мертво пьян».

Дальше, как мы помним (а если не помним, то никто не мешает и прочитать), Петруша отправляется служить, по дороге поддается дурному влиянию, напивается, проигрывает сто рублей, и Савельич сокрушается: в кого же ты такой пошел, вроде бы ни батюшка, ни дедушка пьяницами не были. «А кто всему виноват? проклятый мусье. То и дело, бывало к Антипьевне забежит: “Мадам, же ву при, водкю”. Вот тебе и же ву при! Нечего сказать: добру наставил, собачий сын».

Так вот, я про эту «водкю». Это – по моему глубокому убеждению, пушкинский межлингвистический каламбур. Если читать текст вслух (а это надлежит делать всегда, пусть и «внутренним голосом», когда читаешь художественный текст) и при этом немного знать французский, то очевидно, что «водкю» (с ударением на последнем слоге) звучит как vot’cu, т. е. votre cul, – «ваша жопа». Да, это жопа рябой Палашки и кривой Акульки.

Выражаясь высоким штилем – если кого-то коробит от слова «жопа», – француз дружил с Вакхом и Венерой, и Александр наш

Сергеич одним движением своего блистательного пера объединил и Вакха, и Венеру в одном волшебном, двуязычном слове: так посмотришь – Вакх, а так посмотришь – Венера.

То есть наше все.

Кикимора

Любимая книга – «Великорусские заклинания». Настольная практически. Пробовала я ставить ее на полку, но без толку: в ней постоянно возникает необходимость.

Читаю я ее, во-первых, просто ради поэзии высочайшей крепости; практически спирт-ректификат. На любой странице раскрой, в любое место ткни, – «В чистом поле сидит баба сводница, у тоё у бабы у сводницы стоит печь кирпична, в той пече кирпичной стоит кунжан литр; в том кунжане литре всякая веща кипит, перекипает, горит, перегорает, сохнет и посыхает: и так бы о мне, рабе Божьем (имярек) рабица Божья (имярек) сердцем кипела, кровью горела, телом сохла и не могла бы без меня, раба Божия, ни жить, ни быть, ни дни дневать, ни часа часовать, ни едой отъестись не могла бы от меня, ни питьем отпиться, ни дутьем отдуться, ни гулянкой загулять, ни в бане отпариться».

«Подите вы, семь ветров буйных, соберите тоски тоскучие со вдов, сирот и маленьких ребят, со всего света белого, понесите к красной девице… чтобы тосковала и горевала по мне, и во сне бы она не засыпывала, в теплой паруше калиновым щелоком не смывала, шелковым веником не спаривала, пошла, слезно плакала, и казался бы я ей милее отца и матери, милее всего роду-племени, милее всего под луной Господней, скатного жемчугу, платья цветного, золотой казны».

«Стану я, раб Божий, благословясь, пойду перекрестясь, из избы дверьми, со двора в ворота, в чистое поле. В чистом поле, в зеленых кустах, в поморье стоит вертеп, в том вертепе сидит матерая жена на золотом стуле между троих дверей».

«Создай мне, Страх-Рах, семьдесят семь ветров, семьдесят семь вихорев; ветер полуденный, ветер полуночный, ветер суходушный… Пойду я не в восток, не в восточную сторону, на заднее крыльцо, в подымное окно, под гнилое бойное дерево, пойду не дорогой, а стороной, мышьей норой, собачьей тропой…»

«Посмотрю я, раб, в морскую пучину, и увижу в той морской пучине лежащий белый Латырь камень; на том на белом Латыре камне сидящую царицу, Ирода царя, во имя Соломию. У той царицы есть двенадцать дочерей: Огнея, Гнетея, Знобея, Ломея, Пухлея, Скорохода, Трясуха, Дрожуха, Говоруха, Лепчея, Сухота и Невея».

«Лежит гроб поверх земли; земля того гроба не принимает, ветер его не обдувает, с небеси дождь не поливает, лежит в том гробе опивец зубастый, собой он головастый, как гадина, в гробу

распластался, язык его в темя вытягался…»

«Матушка заря утренняя Мария и вечерняя Маремьяна, приди ко младенцу, возьми ты у него полунощника и щекотуна из белого тела, из горячей крови, из ясных очей, из черных бровей, из каждой жилочки, из каждой косточки… понеси их за моря широки, за реки глубоки, за болоты зыбучи, за грязи топучи, к щуке-белуге в зубы…»

Ну и во-вторых, заговоры и заклинания реально помогают решать жизненные проблемы.

Вот купила я принтер. Хороший, с гарантией, свеженький. Попользовалась, выключила. Снова включила – не работает. Позвонила Любимому Племяннику: как быть? – Нажми сбоку такую-то кнопочку. Нажала, заработал, спасибо.

Вот так и раз, и два, а в один непрекрасный день принтер работать отказался начисто. Звоню опять Любимому Племяннику. Кнопочку нажимала? Нажимала. Программу в компьютере обновила? Обновила. Поди в такой-то файл, сделай то-то. Сделала. Молчок. Много еще чего проделали мы с Племянником, такого, что и не снилось вашим мудрецам, но принтер отказывался работать, и Племянник попросил отпустить его душу: вот он завтра приедет и развинтит проклятый принтер до винтика. А сегодня бесполезняк.

Села я, пригорюнилась, а потом взяла себя в руки: чудес не ищу, должно быть материалистическое все же объяснение происходящему. Надо полагать, в компьютере сидит нечистая сила, смотрим Сборник Заклинаний, ищем, – какая. По всему глядя, подходит кикимора. Нашла заговор «На выживание кикиморы»:

«Ах, ты гой еси, кикимора домовая, выходи из горюнина дома скорее, а не то задернут тебя калеными прутьями, сожгут огнем-полымем и черной смолой зальют».

Черная смола – это, очевидно же, картридж, – мне принтер постоянно посылает стихотворную строку: «Регулярно проверяйте уровень чернил!» Огонь-полымя – это электричество во всей силе своих 220 вольт, каленые прутья тоже внутри механизма просматриваются. Стало быть, должно сработать.

Стала я благословясь, пошла перекрестясь, на четыре стороны света поклонилась, на восток особо. Прочла вслух, с выражением, трижды. Нажала кнопочку – работает.

Написала Любимому Племяннику, студенту старшего курса физфака, программисту: отбой; принтер заработал. – Что ты сделала?! – Изгнала кикимору. – No comments, – ответил программист после некоторого объяснимого молчания.

Теперь уважает.

Аллегория

Что такое вокзал? Это, конечно, портал, врата, вход в иное измерение; это особое, непростое такое место, где начинается непостижимое, а именно – искривление времени и пространства, – остающийся стоит и с тоской смотрит, как бесследно растворяется в белом воздухе зимы и умолкает тот, кто только что смеялся, был живым и теплым, а этот живой и теплый суетится, не зная, как половчее приткнуть пальто, чтобы с него не капало, прикидывает, сколько вагонов придется пройти до буфета и шутит шутки с соседкой по вагону.

Вокзал – это такой храм богу движения; видимо, Гермесу; если листать каталоги античных богов, уже почти не работающих, засушенных до стрекозиной хрупкости, другого подходящего, собственно, не найду. Почта, телеграф, телефон, DHL, UPS, коричневый неспешный товарняк на запасных путях, – все это Гермес, вестник и путешественник, хотя собственно за движение он вроде бы и не ответчик. На Московском вокзале в Питере, если стоять лицом к дымной дали, куда уходят поезда, статуя Гермеса в крылатой шапочке – справа, на большом желтоватом здании, идущим вдоль путей, – пакгауз, видимо. Из седьмого вагона ее хорошо видно. Из шестого тоже.

Но вообще философия русских вокзалов как храмов Начала Пути, храмов Движения, храмов Развязывания Пространственных Узлов не проработана; нет, не проработана! Посреди Московского вокзала в Питере высится бюст Петра Первого, – ну, это понятно и оправданно, он тут все затеял и построил, а по бокам-то все косточки русские, если не считать, конечно, огромной ямы, вырытой в свое время братьями Лейбманами под какое-то строительство непонятно чего – тоже по бокам, – и так ямой много лет и остававшейся. Куда четверым Лейбманам супротив одного Петра Алексеича, он бы их одной шуйцей, повстречайся они ему.

В Москве же, на вокзале Ленинградском, тоже понятно, но не оправданно, годами торчала голова Ленина, хотя он божество подземное, дух метрополитена, но это что; вот на Киевском вокзале в той же Москве стену долгое время украшала цитата из этого же Ленина, начинавшаяся словами: «Железные дороги – это гвоздь…» – не правда ли, чувствуется профессионал какого-то дела, пока не ясно, какого именно.

Ленинградский вокзал – вообще особое сооружение; если бы я была московским мэром, я бы заказала большую аллегорическую картину «Ленинградский вокзал / станция метро

“Комсомольская”», это ведь единый комплекс, и указала бы, что на ней должно быть изображено. Аллегория видится мне так: женщина (естественно), выше пояса красивая дорогостоящей красотой: сиськи в тюле и парче, царственная шея, златые непременно власы, клубящиеся эдак крутыми пожарными рукавами, диадема с миллиардом брильянтовых огней и все такое; вокруг головы, понятно, сияние, и дальше – на усмотрение художника (я же знаю, что они нарисуют купола и иконы, кому ни закажи! что Глазунов, что Шилов, что Никас Сафронов, непременно нутром почуют потребность именно так откликнуться на инициативу градоначальника; к гадалке не ходи).

Это выше пояса; а ниже пояса – клоака, блевотина, язвы, крики и муки, опять-таки на усмотрение аллегориста. Кто не москвич – поясняю.

Давеча этот вокзал реконструировали и усовершенствовали так, словно ждут на бал европейских сиятельных особ, с ногами и безногих: шесть эскалаторов и четыре лифта на второй этаж, стеклянные ограды галерей и переходов, пандусы для отягощенных саквояжами, бутики, деревья в кадках, – не знаю, живые ли, не дергала. Отбывающие на ночных плацкартах в Ижевск или Астрахань, с кутулями, малыми детьми и бестолковыми мужьями, оценят, конечно, этот блистательный сервис, наш маленький оазис, наш локальный Дубай. Прибывающих ждет иное.

Совести и чести ради, вас готовили заранее, вам были знаки и символы, невидимая рука железнодорожного царя чертила вам свои мене, текел, фарес загодя, еще при выезде, скажем, из того же Петербурга. В Петербурге, на вокзале Московском, полюбовавшись на заносимого снегом Гермеса, вы подкатываете свой багаж к вагону скоростного поезда «Сапсан» – удобного, приветливого, с пакетиками негорячего чая «Липтон» по 120 рублей, а что вы хотели, всем сейчас нелегко.

Вы обнаруживаете, что между скользкой платформой и вагоном зияет провал. Немалый такой провал, скорее ущелье. Бездна и харибда, если уж мы про греческую мифологию. Вы на каблуках и в узкой юбке. У вас две тяжелые сумки. Вы понимаете, что вы уже не Елена Исинбаева, и ваш прыжок закончится в харибде: провалитесь по самые трусы, и хорошо если кружевные. Варианты есть: можно засучить юбку, позволив ноге шагнуть. При этом сумки надо поставить, согнуться, кому спина позволяет, руку протянуть далеко вперед и там ухватиться за поручень. Хоп! Молодец. Теперь сумки. Как их достать? Я тут, а они там! Волк, коза и капуста! К счастью, проводницы, несмотря на свою кажущуюся хрупкость, всегда помогают с сумками,

это даже удивительно. В запасе также есть чужие любезные мужчины. Но зачем мучить чужих мужчин и проводниц? Можно же, казалось бы, перекинуть мостки!

На прямой вопрос про мостки железнодорожные люди отвечают: мостки есть, но только для инвалидов, в шестом вагоне. – Ну так настелите их. – Нет, они только для инвалидов! То есть пока вы не провалились в харибду, не ободрали нежные части себя, не сломали что-нибудь и не получили инвалидность, вас ничего хорошего не ждет. Вот вам текел, и вот вам фарес.

Десять вагонов по шестьдесят человек, это шестьсот. Восемь рейсов в день. Есть двойные составы, но мы округлим. Пять тысяч прыжков в одном только Питере, на одних только «Сапсанах», пять тысяч антраша – трепещи, балет «Жизель», мы город культурный!

Умножим на два: тот же прыжок над пропастью во ржи вы вновь совершите через четыре часа, на вокзале Ленинградском. А не надо было надевать каблуки! Сияние и блеск стеклянных галерей и огни дорогих бутиков можно встретить и в чунях! А на чуни можно навинтить противоскользящие капканы с шипами или присосками! Юбку пошире, на резинке, и через сверкающую залу: чвак-чвак, чвак-чвак. Если, конечно, вас встречает возлюбленный с белыми гвоздиками, он посмотрит на вас и, может быть, выберет альтернативные планы на вечер или вообще на будущее. А если не встречает, дальше вам будет тоже интересно.

Обернитесь, покидая теплый сияющий зал с лифтами, пандусами и воздушными галереями! Крепко, конечно, придерживайте сумочку и два чемодана, но обернитесь! Помашите, – а, нет, руки заняты, – помотайте подбородком, что ли – деревцам в кадках. Верхняя половина аллегории осталась позади; вас ждет нижняя.

Сначала холодный предбанник, тяжелые двери и несколько ступеней вниз, где еще одни тяжелые двери. У вас два чемодана! Архитектор Тон, строивший вокзал, думал, что вы, такая вся душистая, в вуальке и с турнюром, прошелестите вниз, чуть приподняв подол, а ваши дорожные сундуки подхватит и не украдет носильщик. В белом фартуке и с бляхой. Но это Тон так думал. А в наше время думают иначе. Поверх ступеней приварены две металлических полосы разной ширины. Обе – слева по ходу, если вам вниз. Что можно поставить на эти страшные рельсы, какой прибор, с какой конфигурацией колес – неведомо. Никто ими и не пользуется.

Хорошо, вы справились. У вас всего лишь два чемодана, вы, слава богу, без детей, потому что они выросли! А если бы

не выросли? Не надо думать о страшном. Вон там, в двадцати метрах, приветливые огни павильона метро! Скорее туда! Ха-ха-ха.

Ха-ха-ха-ха-ха. Щас прямо. Так она в метро и вошла, корова понаехавшая! Не-е-ет, текел тебе на роду написан и фарес. И упарсин, упарсин! И еще раз упарсин! Тут закрыто! Ага! Навеки заколочено! Иди в обход! На разъезжающихся ногах, с двумя внезапно потяжелевшими чемоданами, придерживая сумочку зубами, вы спускаетесь к остановке такси (дюжина ступеней). Вам радостно сообщают цены, у вас темнеет в глазах; нет, как-нибудь доберусь на метро, думаете вы, ведь всего две остановки.

Еще двадцать две ступени вниз, с чемоданами, в смрадный подземный проход. Сумочку вы уже повесили себе на шею, так, чтобы она болталась спереди, так как спина и бока у вас не защищены. В подземном проходе воняет мочой, блевотиной, пивом и смертью. Группа граждан с синими или малиновыми отеками на лицах живописно расположилась вдоль стены, в лужах вышеперечисленного. Вы вспоминаете санитарно-гигиенические нравоучительные плакаты на тему скорости и дальности распространения микробов при кашле. Вы задаетесь научными вопросами о том, путешествуют ли вирусы с той же скоростью, что и бактерии? А вот палочка Коха, она как? На крыльях ветра?

Сто метров клоаки; ваши сапожки на каблуках процокали по чужой гепатитной моче, колеса ваших чемоданов прокатились по туберкулезным лужам, шубка пропиталась тяжкой вонью сложного органического происхождения. Сто метров, но вон там свет и кассы. Турникеты. И двадцать шесть – двадцать шесть, да – ступеней вверх. С двумя, неподъемными уже, чемоданами. Вверх – туда, в тот павильон, куда можно было раньше, в кровавые советские времена, шагнуть с улицы, без труда и мучений. Потому что это вокзал, знаете, с него едут во все стороны света с чемоданами, понимаете. С детьми, чемоданами, безропотными подневольными мужьями, в Воронеж, в Челябинск, в Тьмутаракань или на другие вокзалы, и не все миллионеры, понимаете, и вот для этого строили метро. «Чтоб солнце улыбалось бетону-кирпичу, и Лазарь Каганович нас хлопал по плечу!»

Печальными коровьими глазами вы оглядываете подземные окрестности. Силы ваши на исходе. Му-у… мужчины!.. Дж… джентльмены!.. Ау!.. Но мужчины тут тоже подземные, тертые и темные, с непростыми судьбами, и доверить их ручищам свои чугунные чемоданы, тоже, знаете ли… Они на вокзал приехали не парфюм нюхать, не модели машинок выбирать, не азалию в горшке покупать. Не было у них такого порыва: а брошусь-ка я

на вокзал и куплю азалию!..

Я вас оставлю там, под землей, постойте минут десять. А потом давайте вместе, вскладчину, напишем челобитную в московскую мэрию: дорогой господин градоначальник, дайте указание нарисовать Аллегорию, чтобы от пупка, значит, вверх всё розы, кудри, диадемы, два лифта и шесть эскалаторов в блеске и яблоневом дыме, а от пупка вниз чтоб инферно с аспидами, василисками и бурлением говн. И чтоб установить в центре Храма.

Должна ведь в бюджете быть статья расхода на Аллегорию, не может не быть.

Папуа

Не всех гостей «Школы злословия» мы приглашали в свою программу с целью приобщиться к Прекрасному (поэты-писатели), или к Знанию (историки, социологи, экономисты), или к Мировой Закулисе (политики и все такое). Не всех.

Иногда мотивы, руководившие нами, – как минимум, мной – были совершенно другого порядка. Просто, скажем так, низменные были мотивы. Например, сенатора Петренко, Валентину Александровну, я зазвала в «ШЗ» с мотивами самыми безобразными.

Мне совершенно не интересно было, как сенатор Петренко руководит страной и населяющими ее народами со своего высокого поста, и руководит ли вообще, какие доступные рычаги она приводит в действие, насколько эффективно поворачивает кормило, у которого она вроде как стоит наряду с другими олимпийскими богами, крупными и мелкими. На моей повседневной жизни это кормило не так чтобы сказывалось, да и вообще я верю в то, что тайные пути, по которым движется Родина, свистя, дымя и раскачиваясь, никак не от Совета Федерации зависят.

Не интересны мне были и обвинения, предъявлявшиеся сенатору Петренко, Валентине Александровне, в том, что свою докторскую диссертацию она частично скоммуниздила из других каких-то трудов. Ну, скоммуниздила. И что? Кому нужна эта труха, диссертация ее? Я вам назову тему этой диссертации, и вы сами скажете, куда их нужно засунуть, бумажки эти. «Теоретические и организационно-педагогические основы системы социализации учащейся молодежи» – вот какая тема.

И?

Обхохочешься. Писала бы про что-нибудь конкретное, нужное – например, «Вредители рапсовых культур: крестоцветные клопы, рапсовый пилильщик, скрытнохоботник и др. Проблемы борьбы». У них же там, в Ростовской области, этих пилильщиков и скрытнохоботников – мамаевы полчища.

Нет, мною двигали самые непотребные и темные желания. Мне хотелось возложить обе руки на голову сенатору Петренко и пожамкать ее прическу. А какая у нее прическа – вы все сами знаете.

Вообще, иногда хочется погладить человека по голове, правда же? Ну, неприлично, ну и что? Скажем, лысый. Совсем лысый, не обритый, а такой, что называется, биллиардный шар. Когда люстры и точечные светильники отражаются в этой гладкой

плеши, удваивая освещенность в помещении. Или наоборот, когда волосы ежиком, тоже очень интересно, каков этот ворс на ощупь.

Но обычно как-то сдерживаешься, мало ли чего кому хочется. А тут вот просто нестерпимо захотелось.

Изучив картинки в интернете, я убедилась, что Валентина Александровна всегда отличалась повышенной мелкокурчавостью, но в свои юные, обкомовские годы сдерживала буйный рост волос и носила прическу вполне объяснимую, типа пчелиный рой. Личико хорошенькое, ей шло. Но по мере карьерного роста курчавость сенатора нарастала (чему можно только позавидовать, конечно), пока голова не превратилась в папаху из каракуля. При этом высота папахи варьировалась, но неизменным оставалась диковинная форма.

То ли это такое ростовское брокколи – ставили мичуринские эксперименты, да и лажанулись немножко, скрестили сенатора с капустой. (Все ведь смотрели фильм «Муха-2»? Мой любимый!) То ли Валентина Александровна держит в подвале на цепи какого-то особого парикмахера, может быть, из Папуа-Новой Гвинеи?

Кстати, Папуа в переводе с малайского значит «курчавый». Миклухо-Маклай в своих дневниках пишет, что страсть как хочет поймать папуасского мальчишку и вырезать у него с головы лоскут кожи с волосами. Чтобы посмотреть, как же они там растут, курчавые такие. Кустиками или ровненькими рядками высажены? Скальпировать парнишку хотел. Но не решался, так как за ним бдительно следили родители мальчика, тоже людоеды. Вот так и я – прямо руки чесались – хотела разобраться с головой сенатора.

То есть так чесались – я передать не могу. Что-то я там ее спрашивала, что-то она там отвечала, я ничего не слышала; мы уж привыкли, когда надо, вести программу на автомате, делать заинтересованные лица и изображать необыкновенный интерес и пристальное внимание, когда гость попадается бессмысленный и неинтересный, а уже всё, поздняк метаться. Ничего я не слышала, а только думала: под каким бы предлогом ее исследовать?.. «Ой, Валентина Александровна, на вас муха села!» или «Ай, ай, из вас там, кажется, скрытнохоботник выползает!» Или так невзначай положить ей на голову что-нибудь весом грамм на триста, посмотреть, спружинит или провалится? Она рассказывает нам про какую-то там человечность и культуру, а я думаю: что бы на триста грамм подобрать такое? Чашку с блюдцем? Или туфлю снять?

Как сквозь тяжелый сон слышу, что сенатор чирикает про женственность и красоту, а сама прикидываю: вот она пойдет

после записи в гримерку, а по дороге-то темно, и кабели толстые поперек пола протянуты. Обычно мы говорим: осторожно, не споткнитесь! тут кабели! А вот не сказать ей про кабели, она споткнется, а я ее подхвачу: ой, Валентина Александровна!.. – а сама за волосы ее хвать! Будто бы в темноте промахнулась. Ну, немножко попортится женственность, но зато воссияет Истина!

Или вообще головой стукнется. Можно ей лед к голове тогда приложить, или траумелем смазать шишку, я буду в первых рядах. Или даже прооперировать придется. Чур, я буду при операции присутствовать. Наркоз ведь дадут? – тут можно и выяснить, как оно там у нее растет. Если оно не парик, что вряд ли.

Не знаю, как я выдержала час записи. Как не бросилась и не вцепилась. И после записи тоже. Как дала сенатору уйти. Не знаю. Только сила воли. Только она. Но напряжение непереносимое. Вот сейчас рассказала, и полегчало немножко.

А Совету Федерации каково? Как вы думаете, как они там государством управляют? Тропическим нашим лесом с араукариями, колдунами и райскими птицами? Утверждают безумные законы, придуманные полоумными парламентариями? Как можно чем-то управлять и не думать ежеминутно про голову Валентины Александровны?

Вот поэтому у нас все вот так.

Выйти в люди

Я редко выхожу из дома: делать снаружи совершенно нечего. Ну, разве что в ресторан какой сходить с милым другом, но это ж совсем другое.

Но иногда приходится, и каждый такой выход, каждый визит в присутственное заведение или магазин обязательно вознаграждается какой-нибудь закавыкой, разговором каким-нибудь или просто нескучной странностью. Скучно не бывает.

Замечаешь, например, краем глаза объявление: «Магазин “Все для шитья” переехал в магазин “Ткани”». После идешь и пять минут размышляешь: ну, наконец-то! А что ж они раньше думали?..

Сегодня поехала сдавать налоговую декларацию. На трамвае. На турникете при входе были напечатаны стихи:

> Достойным Гражданином будь!
> Проезд свой оплати – и в добрый путь!

Отметила высокий неснижаемый уровень производственной поэзии; задумалась об авторе: где он? кто он? какое на нем пальто? сильно ли пьющий? О чем мечтал, когда был мальчиком? Какие еще строки принадлежат его перу? Не заметила, как доехала до налоговой.

Я пугаюсь всех этих насекомых словечек – ОКАТО, ОКПО и ЕГРЮЛ-ЕГРИП, но, слава богу, обошлось, все в порядке, только здесь напишите 77, а вот тут 5. Нет, не здесь! здесь пишется 3. И надо сделать ксерокопию вот этой странички.

– Так сделайте, – говорю.

– На первом этаже мы не делаем, – говорит девушка.

– Так сделайте на втором.

– Так туда вам нельзя.

– А вы почему не можете сходить?

– А мы в окнах сидим.

……..

– И что делать?

– А вот дорогу перейдите, там магазин, и слева в нем копии делают.

Перебежала дорогу (перехода-зебры там нет, так что шанс быть переехaнной немалый). Из-под колес грузовиков и троллейбусов выскакивали и другие налогоплательщики; многих, думаю, недосчитаются к 15 июля, последнему сроку

сдачи деклараций.

Слева в магазине была оборудована конура, в которой сидел старикан повышенной веселости; а как же ему не веселиться, если он за один листочек ксерокопии берет 20 рублей. Девушка передо мной восемь листочков копировала. Квитанций нет, так что всё в карман старикану и его смотрящему. Не буду подозревать налоговую, будто она в доле. Не буду.

Перебежала назад, все было прекрасно и вежливо. Квитанцию мне, правда, выписали на Нину Никитичну, но это у операционистки был приступ фрейдизма. Это, как она пояснила, оттого, что так ее свекровь зовут, и вот надо бы ей позвонить, а она все откладывает. Я с пониманием. У самой свекровь была.

Следующим учреждением была почта.

На почте была небольшая очередь, создавшаяся, как я поняла за полчаса стояния, оттого, что четыре почтовые женщины не могли найти ни с первого, ни со второго, ни с третьего раза письма и посылки, за которыми пришли тихие, терпеливые граждане. Неудивительно. Я сама пришла с двумя извещениями, одно из них было на простую бандероль, другое на заказную. На одной моя фамилия было Толстова, на другой – Толстых. Естественно, это оказалась одна и та же посылка, и паспорт на мою природную фамилию совершенно устроил работников почты и ничуть их не возмутил. На одном из извещений было написано от руки: «желтый пакет наверху лежит». Это вот помогло. А то до сих пор бы я там стояла. А некоторые женщины получали один конверт, а за другим, – говорили им, – приходите завтра, найти не можем. И, понимающе кивнув, пенсионеры уходили. Тихо шелестя ногами. В апрельскую метель.

Пока мы беззвучно, как в Мавзолей к Ильичу, стояли в небольшом пространстве почтового закута, с улицы вошел напористый румяный дядька: «Вы тут стоите? нет? тогда дайте я!» – и полез, отодвигая шесть человек. Мы пробудились и превратились в стальную щетину, воспетую поэтом. Не пропустили.

– Мы стоим в очереди!

– Да потому что вот и всё так в нашей стране! – обиделся непропущенный.

– Зачем, страна как страна, а ваше хамство – это ваша частная проблема, – отвечала ему очередь. Я порадовалась. Все же дух в народе не сломлен.

И последним пунктом посещения был поганый «Перекресток». Ну, он-то никогда не подведет, там всегда что-нибудь такое, такое вот что-нибудь! И сегодня судьба пожелала закольцевать мой

маршрут стихами. В трамвае я была «Достойным Гражданином», поганый же «Перекресток» обратился ко мне стихами Блока.

На упаковке печенья «Блажь с клюквой», на торце, было начертано: «Сотри случайные черты, и ты увидишь: мир прекрасен!»

И в общем, Александр Александрович был, как всегда, совершенно прав!

Мир прекрасен.

Коротыш

Меня тут в Сан-Себастьяне просветили: разница между испанцами и басками состоит в том, что испанцы на пляже лежат. А баски стоят или ходят туда-сюда. Это объясняет странность здешних пляжей: сначала ты идешь к океану, стараясь не наступать на лица, а потом расталкиваешь толпу локтями. А в воде разница, видимо, стирается.

Ни те, ни другие не говорят ни по-английски, ни даже по-французски, хотя до Франции отсюда можно запросто доплюнуть, если, конечно, слюны накопить и поднапрячься. Так что непонятно, как тут договариваться. Понятно, что в сфере ресторанной можно объясниться на английском, такое уж это дело, turismo. Но шаг в сторону – все. Наступает глухота паучья.

Мою хозяйку тут зовут Консепсьон, что по-испански значит Зачатие. Судя по фамилии, она баска. По-английски кое-как говорит и понимает, если медленно. Должна была встретить меня у входа в дом с ключами. Стою как дура с чемоданами – никого. Позвонить ей не могу: номер ее телефона в компьютере, компьютер хочет вай-фая, в одном отеле его нет, в другом нет, в третьем есть, но в обмен на чашку кофе, то есть я сиди и жди, а она там без меня придет и увидит, что клиента нет. Наконец, соединилась, звоню:

– Консепсьон! Меня никто не встречает!

– Знаю, – спокойно отвечает Зачатие.

Через полтора часа приходит ее дочь. Ура! Я в квартире! Кофе у меня с собой! Ищу в чем сварить – не в чем сварить, и ложек-вилок нету. Пришлось пойти на улицу, посидеть в кафе, съесть пинчос (они же тапас) и украсть вилку. Этой вилкой я насыпала кофе в чашку, ею же и размешивала, залив кипятком.

Зачатие пришла на следующий день, гремя вилками, и я ее простила. Но тут отключилась горячая вода. Я написала Зачатию письмо в гневных выражениях, и начала раздражаться. В это время позвонили в дверь. Оказалось, слесари.

– Блрбрлблрлрбллбрр, – сказал старший слесарь.

– Ду ю спик Инглиш? – понадеялась я.

– No! Блрбрлблрлрбллбрр! Blrbrlblrlrbllbrr!

– Я не понимаю! Не понимаю!

– Blr, brl, blrl-rbll brr, – спокойно и терпеливо объяснил старший слесарь. Младший подтвердил.

Я подумала. Вспомнила забытый курс университетской латыни. Цезаря, Брутом убиенного, вспомнила: Галлия эст омниа дивиза ин партес трес.

– А! – говорю. – Аква?!

– Si, si, agua, agua!

– Заходите!

Вот есть польза от Римской Империи! Слесари вбежали в мою квартиру и заняли такую же позицию, какую они всегда занимают и в России: младший слесарь раскурочил какое-то окошечко в стене и стал портить и разрушать что-то похожее на трубы и вентили, а старший ничего не делал, а только руководил и указывал.

Разворотив и намусорив, слесари стали уходить.

– А это? – показала я на разрушения.

Слесари удивились, вернулись и почти все поставили на место. Не всё, понятно, вошло в пазы, а кое-что погибло при отвинчивании, но, в общем, поработали хорошо. Вода так и не пошла, что тоже понятно и объяснимо.

Я пошла на пляж, а когда вернулась, кипяток хлестал из всех кранов – и на кухне хлестал, и ванная вся была в непроглядном пару: слесари отвинтили краны и не закрыли их. Бешеный напор оторвал держалку для душа, так что гибкий шланг свалился, повис и кружил вокруг себя смертельными кругами. Кажется, это называется реактивная сила. Хоть и не с первого захода, но я его поймала как гадюку, придавила и обезвредила.

Чего еще можно было ждать? Чего еще со мной не случилось в этом прекрасном городе? Все прекрасно, и до океана ходьбы 1 минута 47 секунд, а до ресторанов 15 минут, а до магазинов три минуты, и на каждом висит надпись Ребахас, что переводится на баскский как Бехерапенак. А по-нашему это Скидка.

И вот вчера, в душный жаркий вечер, придя с океана, из ресторана, с полными сумками этого бехерапенака, мечтаю завалиться в кровать под вентилятор со стаканом ледяной из холодильника воды; все шторы, занавесы и экраны опустила, воды налила, лимон туда бросила, разделась догола и потушила свет.

Хренак! Ударило в люстре. Короткое замыкание. И я стою в чем мать родила посреди тьмы и духоты, полностью отрезанная от внешнего мира. Вентилятор не крутится. Компьютер не работает: вай-фай отключился, письмо не написать. Почти полночь. Что будем делать?

Наощупь я нашарила айфон. Он давал слабый свет. Нашарила какую-то полуголую одежду, завернулась в нее. Обошла во тьме квартиру Зачатия, светя айфоном и ища электрощит. Не нашла. Стояла. Думала. Тут снаружи, в коридоре, послышался голос и шум: из соседней квартиры выходил жилец. Я, зажав ключи в руках (главное, не захлопнуть их в квартире!)

выбежала в чем была (а я была почти что ни в чем) и стала заманивать соседа в свою квартиру международными жестами приглашения. Мужик вошел ко мне во тьму. Я что-то говорила, а он ничего не понимал, но пошел!

А кто бы не пошел? Голая баба, по-человечески не говорит, заманивает тебя в темную квартиру. Как же не пойти? Я представила себе его жену, которая только что его провожала до порога: вот так выпусти мужика на минуту, да? За сигаретами там ему надо или что. Пяти метров не прошел, и раз! уж его засосало!

Сосед подергал выключатели. Ноль. Нашел щит: у него, видимо, такая же квартира, и он знал. Я светила айфоном, следя, чтобы с меня не свалилось надетое. На щите рубильнички повисли бессильно вниз. Сосед обрадовался: вот, вот там! и попробовал дотянуться до щита. Но ему не хватало росточка. Народ тут, на Иберийском полуострове, вообще невысокий. Я была выше его ростом, но не могла же я это ему показать.

– Corto, corto! – говорил мужик, и я так поняла, что это по-испански «коротыш». Да я и сама видела, что коротыш.

В лучших ведьминских традициях я нашарила и передала ему швабру. Ручкой швабры он тыкал, поднимал упавшие рубильнички, и они соскальзывали и бессильно падали опять. «Жизнь, как подстреленная птица, подняться хочет, но не может», – писал Тютчев по, в общем-то, аналогичному поводу. Не получалось у мужика. Мне его даже жалко стало. Не вышло из него героя.

– Корто! – говорил он. Еще потыкался и ушел боком, виновато держа руки.

Конечно, я нашла в телефоне номер Зачатия, и на счету, слава богу, оставались деньги, и перепуганное Зачатие прибежало, в пол-первого ночи, боясь моего гнева, или слез, или дурного отзыва в Airbnb, но ничего этого не было, и она ловкой женской рукой схватила швабру, воткнула ее в упорные, не желавшие вздыматься тумблеры, и прижала их, и держала, и о чудо, что-то снова треснуло, и был свет. И мы с ней засмеялись и обнялись, и я пообещала ей, что непременно в следующем году приеду в ее сумасшедшую квартирку, в которой я пережила все, что полагается: и огонь, и воду, и краденую стальную вилку.

Без чеснока

Удивительно, что хотя нас уж больше года как раскулачило НТВ, народ все еще узнает меня в местах неожиданных, вроде рыночных ворот, где всегда небольшие скопления торговых старух. Там обычно на перевернутых ведрах сидит пять-шесть бабулек с укропом, зеленым луком, закатанными неизвестно когда банками и засоленными без любви огурцами.

Сегодня покупала у одной такой букет для засолки. Старуха выглядела так, будто умерла уже давно, но все никак в гроб не ляжет, – а то кто торговать будет? У нее были банки с опасными грибами, придушенные овощи в мутных пакетах и редиска с землей. Букеты у нее тоже были ниже всякого мыслимого стандарта: лист хрена всего один, смородиновый прутик засох, а чеснока совсем не положено.

– Где же чеснок? – спросила я.

– А Дуня где? – вопросила старуха неожиданно зычным, прямо-таки мужским голосом. – За Чубайсом замужем?

Видимо, это было ответом на мой вопрос. Я представила, как она сидит перед телевизором, иссохшая как Кощей, с всклокоченными серыми волосами, и смотрит неподвижными, ввалившимися глазами на ночной экран. Нас же показывали в час ночи. Смотрит не мигая, слушает про средневековую историю, про якутский язык, про обэриутов, про балет, про тюремные нравы, про японскую поэтику, про императора Александра Первого и старца Федора Кузьмича. После, в третьем часу, выключает телевизор, ложится навзничь, в вязаных носках, и долго лежит без сна, глядя в серый ночной потолок.

Ничего мы не знаем о нашей аудитории.

Нога

Идет пара, лет сорока. Она, повествовательным голосом:

– И вот мне такие нужны, понимаешь, чтобы внутри было тепло, но не жарко. Не с мехом. Тепло чтобы было. Ну, на хорошую погоду у меня есть, пока не надо; а вот на холодную, чтобы ноге тепло. И пятке чтобы удобно было. Вот ногу когда сунешь – чтобы она пролезла сразу. А то суешь, суешь – и не лезет. А мне надо, чтобы удобно. И вот стелька эта тоже чтобы удобная, вот стелька. Вот чтобы это сбоку, понимаешь, там где мне всегда натирает. А то иногда скомкается, так прямо неудобно ходить. Вот тут вот.

Спокойный такой голос, непреклонный. Пауз не предполагается.

Он покорно слушает. Привык, наверно. Сначала, должно быть, слушал невнимательно, отвлекался, глядел по сторонам, не запоминал. Рвался куда-то. Имел свои мысли. Потом, с годами, смирился, а как не смириться, когда этот ровный, сильный, пыльный, все накрывающий как одеялом, голос завалил все выходы, все двери, войлоком заполнил коридор, отрезал пути. Он пропустил момент, когда можно было отстегнуть цепь и бежать, – теперь всё, теперь разве что выйти постоять на балконе, покурить в баночку из-под зеленого горошка. Посмотреть, как курят другие вон на тех балконах. Те, кому разрешили.

А лет двадцать назад он небось думал: всё отдам за эти ноги! Недолго думал, но все-таки был такой порыв. А еще до того – на велосипеде, и с горки, и в ушах свистело. А еще до того – сидел на озере с удочкой, и туман такой по гладкой воде, и хлеб в кармане. А еще до того поймал жука, огромного, с зеленым отливом, и перевернул, и смотрел, как он лапками шевелит. А еще до того. А еще.

А теперь.

Русская школа

Сидя в огромной столовой Миддлбери Колледжа, рассуждали с профессорами Русской Летней Школы о том, как сохранить одежду в чистоте и опрятности, когда суп норовит пролиться, томатный соус – капнуть, вермишель – вырваться из тарелки и обвиться вокруг пуговицы, компот – шмякнуться фруктами на ваши колени, а уж про хлеб и говорить нечего: крошки засыплют вас с ног до головы и еще и в постели обнаружатся.

Как? Ответ: никак. Только если противочумный костюм и очки-консервы.

Профессора знали много интересных и поучительных историй. Поделились наблюдениями. Так, например, все согласились, что красное вино обладает небольшим, но злобным сознанием и тяготеет к белым брюкам и светлым женским платьям. В то время как белое вино ничем таким не обладает и ему обливать людей неинтересно.

Каждый рассказал свою историю о коварном красном вине. Типа того, что только скажешь: ох, не пролить бы! – как бокал вырывается из твоих рук и как из шланга, полукругом, обдает и тебя, и стоящих вокруг. Со мной, например, это тоже было, я где-то про это писала. В моем случае виной была моя шелковая темно-зеленая кофточка: каждый встречный хотел ее уничтожить, облить, разрезать, испачкать и замучать. С этой целью Злобные Силы направили в мою сторону женщину с бокалом красного вина. Вернее, нет, не так. С этой целью в мою сторону направилось красное вино, налившись в бокал и втиснувшись в руку женщины. Оно руководило, но в тот раз просчиталось.

А белое, оно выше этого всего. Не считает нужным делать нам гадости.

Внимательный наблюдатель отметит, что аналогичная злоба присуща также многим типам варенья, причем тоже красно-черного диапазона. Черничное оставит вам кляксу на груди, к гадалке не ходи. А вторую на жопе, почему – неизвестно. То же сделает черносмородинное. Вишневое или клубничное тяготеет к рукавам, айвовое или абрикосовое, будучи желтыми, как правило, не капают.

Черная смородина вообще исключительно коварная ягода. Была у меня соковыжималка и я баловалась с ней, выжимая сок из всего, что попадалось мне на глаза. А в инструкции было сказано: подходит для всех видов фруктов и ягод, кроме черной смородины. Меня эта строчка в инструкции прямо мучила. Я, как жена Синей Бороды, не могла не испробовать: что ж такое

случится, если я нарушу запрет? Купила я у старухи возле станции «Менделеевская» стакан черной смородины и загрузила в соковыжималку. И действительно, побелка стен и потолка обошлась мне довольно дорого, а два кресла, стоявшие неподалеку, пришлось переобивать.

Месторасположение пятна на одежде зависит от гендера, возраста и особенностей строения тела, – отметили профессора. Упавший изо рта кусок падает вертикально вниз, встречая на своем пути препятствия в виде рельефа. Так, если у женщины есть грудь, то сначала выпавшее валится на грудь, а потом уж с груди соскакивает или капает на колени. Если груди у женщины нет, или мало, то изгваздается сразу юбка. А вот если женщина сгорбленная, да еще без груди, да еще ест стоя, то еда и питье уронятся на пол. Казалось бы, удобно. Но вряд ли такая ссутуленная женщина будет популярна среди мужчин, даже если она будет блистать незапятнанностью своих одежд; незапятнанность вышла из моды.

Напротив, у мужчин все валится на живот. Наличие бороды или усов может отклонить полет упавшего, но ненамного. Вино, как было сказано выше, выливается на брюки, тем более на белые.

Кто помнит, в девяностые телевидение усиленно рекламировало моющие средства. Каждые полчаса нам показывали учительницу-зассыху, которая, увлекшись какими-то высокодуховными разговорами, впивалась зубами в пиццу, а пицца только того и ждала, и выплевывала со своей обратной стороны коварный томатный соус на учительницыну блузочку: шмяк – и погибла блузочка! Но – горе не беда, педагогиня не расстраивалась, ведь у нее был порошок ХХ, и полностью, полностью отстирывал кошмар с блузочки, ура.

(Эта реклама перемежалась повествованием о бодрой моложавой даме, приобретшей особый клей для вставных челюстей. Смотрите! – и дама кусала яблоко. Куда смотреть? А вот: вставная челюсть оставалась во рту, а не повисала на яблоке, вот какой хороший был клей.)

В отдельную категорию необходимо выделить случаи, когда ест один человек, а пачкается другой. Тут как-то особо заметно действие кармы. Классический случай – когда едящий пытается воткнуть вилку в маслину, лежащую на плоской тарелке. Маслина, со всем своим маслом, летит либо направо, либо налево, а иногда и вверх, и может попасть даме в декольте, после чего только развод, разрыв, дуэль и мордобой.

Другой случай – когда человек по одну сторону стола кусает спелый помидор, но помидор не откусывается, а лопается с противоположной стороны, так что струя сока вместе

с семечками летит через стол и попадает в лицо соседу напротив. Со мной так было. Кусала я. Совсем не смешно.

Практический смысл всех этих наблюдений сводился для меня к тому, сколько и каких платьев брать с собой на неполную неделю в Летней Русской Школе. Стирать тут особо негде, тащить с собой порошок и пятновыводитель, как педагог-зассыха, не хотелось. Взяла четыре: серо-голубое, серо-коричневое, мятное и цвета летних сумерек. Взяла к ним также четыре шарфика, чтобы, комбинируя и перекомбинируя их опытной рукой, получить шестнадцать нарядов. Старалась есть продукты светлых тонов, пить белое вино. Не помогло: пятна неизвестного происхождения пробрались-таки на фасады всех моих нарядов, так что в последний здешний день мне пришлось пойти и купить себе черное платье. Я знаю, все йогурты в столовой насторожились и приготовились. Не дождетесь!

А на днях, изнемогая от тридцатиградусной жары, пошла с профессорами в бассейн. Вот где несть ни печали ни воздыхания, ни кетчупа, ни вина, ни тыквенного пюре, ни яичного желтка, а одни лишь чистые зеленые воды! Но нас не впустили. Трое служащих, склонясь к чистым водам, что-то нашаривали и ловили.

– Закрыто! – крикнули они.

– Но почему?

– Кто-то наблевал в бассейн. Мы закрылись до завтра!

– Пустите нас, пустите, мы ничего, мы привычные! – закричали профессора и я вместе с ними. – Мы вон в столовой, мы всегда, мы привыкли, пусть наблевано, ну и что, мы в дальнем конце поплаваем, дотуда ведь не дойдет?..

– Нельзя. У нас протокол! – строго отвечали служители вод.

И мы, ворча и качая головами, побрели восвояси, добрым словом поминая отечественных коррупционеров, которые за три рубля, конечно, пустили бы нас поплавать – да хоть в чем. Хоть в говне! Если очень надо людям. Тоже мне, Русская Школа.

Бессмертный

Году этак в 1993-м зашла я в один неприметный магазинчик в городе Принстоне, штат Нью-Джерси, США. Магазинчик этот оказался бутиком.

В одной половине его висели ужасные, как обычно, но зато отлично отпаренные одежды итальянских дизайнеров: атлас, парча, густые стразы и иногда даже сам страус. Костюмчики цвета топленого молока, по подолу и карманам сбрызнуто золотишком; как вариант – цвет южная ночь, а сбрызнуто серебром. Как бы – вот день, а вот и ночь с частыми звездочками. Для тех, кому за пятьдесят, но в душе еще охота опять весны; охота покатать свои морщины на яхте, выгулять жилистые свои ноги по круизным палубам. Стоит столько, что вот возьми да отдай ты свои пенсионные сбережения, не придерживай их на оплату больничной койки, погуляем напоследок.

Еще там висели алые платья до полу, шелковые брючные костюмы размером на уже зачахшего Кощея, пара шуб и все такое, совершенно мне не годящееся.

А во второй половине были представлены местные дизайнерские одежонки, вещи, связанные какими-то умелыми американками, и там было необычно и интересно. Женщины в Америке, как я убедилась, делятся на тех, кто не понимает, как пришить пуговицу (реально не понимает: голова не усваивает, руки вяло повисают вдоль туловища; клянусь, сама сталкивалась), и на тех, кто невероятно виртуозен в деле шитья и вязания; просто асы и монстры. Вот тут широко были представлены асы и монстры.

Так что я воспламенилась, купила вон то и еще вон то. И два шарфика. И широкий серебряный браслет, такой удобный, словно он резиновый или шерстяной. И уже собиралась уходить, когда мой взгляд упал на кашемировый свитерок.

– Купи! – сказал внутренний голос.

– Чего это? Он китайский, – возразила я. – Развалится после первой стирки.

– Купи, – сказал голос.

– Он невозможного цвета, – сказала я. – Оливковый! С чем его носить? С красным? Это будет генерал советской армии. С синим? С джинсами? Мрак и депрессия. С черным – тупо. С желтым – я еще с ума не сошла. С коричневым – это для пенсионеров. С вишневым – можно, но у меня нет вишневой юбки, да и где ее взять? Тут всё песочные да «собачий зуб».

– Покупай, – настаивал голос.

– Он стоит двести долларов! – закричала я. – Китайский! Двести! Они обнаглели!

Я напомню, что на дворе стоял 1993 год, и двести долларов – это было как сейчас 350, а то и больше. Конечно, я его купила. Внутренний голос, как мы все знаем, имеет свой разум, свои резоны, свою, скрытую от нас, логику; он управляет нашей жизнью, ведя нас куда-то вон туда. Если его слушать – необязательно придет счастье. Но если не послушаться – счастья точно не будет.

Вот, например, он отлично знает – в отличие от вас – кого вы должны любить.

– Люби вот этого, – говорит он.

– Чего это? – думаете вы.

– Люби его! – говорит голос.

– Да с чего это? Он какой-то некрасивый!

– Люби, – говорит голос. – Все красавцы померкнут, будут, как пыль на ветру.

– Да у него характер какой-то противный.

– Люби, и увидишь: это лучший характер на свете.

– И шутки у него дурацкие!

– Будешь веселиться, даже вспоминая! Хохотать будешь!

– Да это бесперспективно! Я не буду счастлива!

– Будешь любить – будешь счастлива, – говорит голос.

И так именно и случается.

Так вот, купила я свитерок и дома рассмотрела. Все в нем было неправильно. Он был плотный, двойной, что ли, вязки, с изнанки красивее, чем с лицевой стороны – серо-шалфейный, такой всякий бы схватил. Но лицевая сторона была откровенно оливкового цвета, именно цвета фаршированных оливок, грудой наваленных в тазике в кулинарном отделе магазина. Так что надевая его, я чувствовала, что он нафарширован мною. Крой у него был свободный, сверху шире, чем внизу, честно говоря, это был мешок. К моему цвету лица он тоже был не очень. То есть так: пока я его не надевала, цвет лица у меня был хороший. А как только я фаршировала собой этот китайский мешок – так цвет лица у меня необъяснимо портился.

Я стала его носить. Он был теплый, но в нем было совершенно не жарко. Он был мешком, но его как-то получалось носить с чем угодно. Снимать его не хотелось. Он не мялся. Он не пачкался. Наконец я постирала его, – постирала, встряхнула, и он высох. Гладить его было не нужно.

В какой-то момент у него, как у всякого кашемира, на груди и рукавах появились катышки.

– Ага! – подумала я. – Ты все-таки такой же, как все.

Взяла бритвенный станочек и побрила свитер. Больше катышки не возникали.

Я носила китайское чудо год, два, три, и он мне стал надоедать. Сколько можно?

– Почему ты не синий? Почему не шоколадный? – спрашивала я с раздражением. Я покупала себе другие вещи, красивее, моднее и лучше, но проклятый свитер все время попадался мне под руку в шкафу и предпочитался. Я засунула его в шкаф подальше. Он выходил из глубин и надевался на меня. Тогда я решила уничтожить его. Для этого я спала в нем – как раз стояла зима и в доме было холодно. Кашемировый свитер, если в нем спать, уже через неделю можно выбрасывать. Но мой ничто не брало.

Шли годы. Да чего годы, десятилетия шли. Я уехала из Америки в Москву, где у меня было много полок в шкафах и много разнообразных кофточек и свитеров. Оливковый затерялся среди них. Периодически я перебирала и перетряхивала свою одежду, и часто оказывалось, что в шкафу орудовала моль, кормя своих деточек лучшими кусочками моих приобретений. Оливковый свитер эти скоты обходили стороной.

Наконец, внутренний голос сказал мне:

– Ну хорошо. Пойдем на крайние меры. Свари его в стиральной машине. Потом отжим на самой большой скорости. А потом в сушильную его, и пусть он там часок покрутится.

Мысль была интересная: я только что так загубила другой свитерок, любимый и ценимый. После стирки в машине он стал размером 20×20 см, то есть и на котенка не налез бы. От горя и ужаса я даже закричала. Это вот, представить, если муж пошел в магазин весь такой высокий и красивый, а вернулся росточком с полугодовалого ребенка. Хотя и купил все правильно, как было велено.

И я сварила оливковый, как мне подсказал внутренний голос. Вы уже догадались. Он не дрогнул. Чуть, может быть, плотнее стал, но если не знать, каким он был в юности, то и не скажешь, где он побывал.

Заплатила я за него в свое время 200 долларов. То есть за 22 года – разделите там в столбик, – это получается меньше десяти долларов в год он мне обошелся. Я не понимаю китайцев. Как у них рост экономики при таких раскладах получается? Так, а мне что делать? Это навеки, да? И, судя по всему, отдать его бомжам или другим нуждающимся не получится. Он вернется, он меня найдет, он придет, ночью, вскарабкается по стене дома на высокий мой этаж, распластается за окном, раскинув рукава, нашаривая форточку, щель в откинутой фрамуге, приоткрытую

для воздушного тока створку окна. Такая вот любовь.

Витя

Все равно болею, делать нечего, читаю интернет. Что узнала?

Ельцин умер в 1996 году, а до 2000 года правил его двойник. Власти скрывают. Ну, это мне еще когда таксисты рассказывали. Это общеизвестно. Царя в России обязательно подменяют. Петр Первый съездил на запад, в Англию и Голландию, и его там подменили. Вернулся совершенно другой человек.

Емельян Пугачев тоже был на самом деле Петром Третьим, но власти скрывали. Про Александра Первого, который не умер, а стал Федором Кузьмичом, тоже все знают, даже говорить смешно.

Путина тоже подменили. То есть помимо того, что у него четыре двойника, он еще и не Путин, примерно с 2006 года. А Витя. Нами управляет Витя. Потому что тот, настоящий Путин, он был не такой, он «обещал: удерживать цены на ЖКХ, цены на бензин, бороться с коррупцией, дать людям доступное жилье.» А Витя цены не удерживает.

(Тут маленькая закавыка: не вполне понятно, как в рамках этой логичной и убедительной теории объяснить недавнее исчезновение президента из всех СМИ на десять дней? Ладно, Витя заболел или еще что, но как же четыре его двойника? У всех сразу отпуск, что ли? Я не понимаю.)

А сегодня узнала, почему я болею. И вы все тоже почему болеете. Это потому, что лекарств никто не покупает, так власти и «решили пустить вирус».

Мне нравится, что в нашем бантустане народ так близко, тесно, интимно переплетен с властью, мне дорого, что планы и задумки Кремля так прозрачны, так понятны народу, – тайные письмена, начертанные властителями, легко прочитываются слепыми подданными, шуршания и шепоты втекают в самое сердце народное.

Мы спим, и во сне нам открываются правды и судьбы. Что было, что сбудется, где живет дикобраз, где пасутся зебры, откуда ждать нашествия термитов, кто притворяется человеком, а сам, втайне, крокодил и Дух Смерти.

Недолго мы побыли с вами, белые люди, хватит, надоело. Вот доедим последний батат, сверкнем напоследок белыми зубами и уйдем во тьму.

Лаванда

На ярмарке купить бутылку постного масла – раз и два; времени не занимает, ни копаться не приходится, ни выбирать, ни думать, ни хмуриться: «нет, вон ту лучше… Нет, все-таки вот эту». Поэтому продавщице скучно, покупатели не задерживаются, а поговорить-то ей охота.

– В этом году картошка вся пропала, не знаю, что есть будем, – задерживает меня разговором, сразу начинает.

– Да?

– Да, вся пропала. Она еще во-от такая, я ее тяну – а на ней уже два жука! Откуда взялись, я прям не знаю, сотни их, сотни. В прошлом году я лаванду сажала, так она их отпугивала. А зимой чё-т вся лаванда погибла, теперь вот я не знаю прямо. Вот сотни их так и ползут! Я – перчатки, маску, – и прыскаю! На каждый куст! Сколько яду перевела…

– А почему лаванда погибла?

– А не знаю! – оживляется еще больше. – Снегу мало было, вот наверно поэтому. Прошлые годы росла прекрасно. А в этом году не стало ее, и ползут!

Вид у нее такой довольный, как будто ползут не жуки, а это внуки с подарками понаехали; вообще, народ, как я заметила, страшно любит происшествия: мор, глад, трус, потоп и нашествие саранчи; не в реальной жизни любит, в реальной он либо борется и прыскает, как эта крепкая и довольная Нина Петровна, либо пьет и плачет; не в реальной, а вот в этой, литературной, рассказываемой, придумываемой и расцвечиваемой своей жизни. Это эпосы стоят в белых фартуках, эпосы. Только начни с ними про их жизнь, только прояви интерес чуть больший, нежели пересчитать сдачу, – все, заструилась Калевала ли, Илиада ли: и что погибло, и что разрушилось, и как ехали деньги везли от продажи рюкзаков, а под Новгородом бандиты с оружием: стой, вылезай! а я им: ребяты, деньги берите, но не стреляйте! я вам в матери гожусь, ребяты!..

Нина Петровна торгует от ПБОЮЛа, цивилизованно, с бейджиком на фартуке. А рядом, на перевернутой таре, обмахивается веером частный сектор: красавица дряхлых лет, вот просто красавица: кожа тонкая, бледная, глаза яркие, шиньон, правда, сполз немножечко со лба набок, но так она и человек простой, подмосковный, не Кобзон. Говорит, что ей восемьдесят три, и не понять, в чем кокетство, прибавила себе или убавила? Торгует яйцами и отходящими, последними, трепаными пионами.

– Сто километров везла – не разбила!

– Это у вас домашние?

– Домашние! Такие нежные! Последний десяток остался, все разобрали.

– А они свежие? Когда снесены?

Задумывается на лишнюю секунду. Сейчас соврет.

– Три дня назад! Свежайшие! Или вот цветочки возьмите, цветочки у меня изумительные!

Яйца несколько в говне, пионы уже клонятся долу, не жильцы.

– Ладно, давайте яйца. Почем они?

– Сто пятьдесят рублей.

– О боже.

– Сто пятьдесят. Надо бы сто шестьдесят! Держу цену, не повышаю, а надо бы! Пшеница ведь дорожает, другие повышают, я не повышаю, и что это я такая?.. Но вы знаете, что я вам скажу: тут все, буквально все полезное. Вы когда яйцо будете есть, вы пленочку себе на глаза наложите, она всё лечит.

– Пленочку?!

– Да, вот когда яйцо разобьешь, там под скорлупой есть такая, знаете, пленочка. Вот так вот ее возьмите и вот сюда, – оттягивает нижнее веко и показывает, куда накладывать говенную пленочку. – Все глазные болезни лечит.

– Какие же именно?

– Ну какие… Всякие! Катаракту, глаукому. Мне вот восемьдесят три, и я читаю без очков!

– Драгоценная моя, – говорю ей, – это что-то вы не то говорите. Катаракта – это помутнение хрусталика, это вещь необратимая. Это все равно как вы бы пытались из вареного яйца снова сделать сырое.

– Ну как же… Мне же и врач сказал… У вас, сказал, совершенно здоровые глаза… А потому что я каждый день пленочку…

И сидит на пластиковом ящике такая красивая, растерянная… Зря я, наверно, ее сказку разрушила. Надо было согласиться, покивать головой, поблагодарить, поахать, встроиться в это цветущее мракобесие, провалиться в средневековье, а там, глядишь, откроется и волшебный гербарий: сон-трава, разрыв-трава, приворот-трава… и все будет хорошо, и мы будем смотреть ясно, жить долго и победим лютого ворога лавандой.

Муджадра

Я не люблю здоровый образ жизни: очень много бессмысленного труда приходится затрачивать, а результат? Неочевидна связь между ведением здорового образа жизни и обретением здоровья.

И то сказать: вот буквально только что – судя по обилию появившихся статей – в моду вошло есть жир. Жир! – от одного этого слова все бывалоча бледнели и оседали на пол, а нынче – погляди в окно! – все только и интересуются, как съесть побольше жира – сала, масла, белой оборочки с ветчины, которую раньше отрезали и отодвигали на край тарелки со страхом. Давай бекон, давай прожилки, вот эти холестериновые бляшки давай, творогом жирным чтоб чавкать и истекать, кефир мне, девушка, шестипроцентный! – как нет шестипроцентного?! тогда сметану 30-процентную, нет, постная не пойдет.

Мы, предвижу я, с новым интересом взглянем на братскую Украину как источник розового с чесночком, со шкуркой. В крупной соли. А она – на нас. А то – газ, газ. А вот и не газ. Белоруссии тоже приготовиться. Вместе выпьем, вместе и закусим, верю.

Раньше, помню, главной задачей медицины считалось мучить человека в том направлении, чтобы он вкусного не ел. Мясо – ужас. Сливочное масло – да вы с ума сошли. Помню, в одном американском журнале, типа Ньюсуик, была реклама какого-то лекарства, снижающего уровень холестерина, якобы образовывавшегося в организме в результате вкусных ужинов при свечах с филе-миньоном и каберне-совиньоном.

На полосной фотографии, сопровождавшей рекламный пакет, два старика с хорошими зубными имплантами хохотали от счастья, обняв друг дружку: он ее, а она – его. Якобы их любовь пережила бури и искушения, и они любят друг друга, как и шестьдесят лет назад; да ни в жисть не поверю; на его-то месте я бы точно завела вторую семью, а то и две, не говоря уже о промежуточных и временных сиренах, которые бы нарушали этот отвратительный союз; впрочем, я отвлеклась. Носители имплантов, стало быть, счастливо стискивали друг дружку остеопорозными руками, так как приобрели по рецепту лекарство, снижающее холестерин. Пусть так.

Но это же Америка, страна юристов, from sea to shining sea. Ниже мелким, мельчайшим шрифтом шел дисклеймер: побочные эффекты от чудо-лекарства. Я добыла лупу и прочла.

Лекарство для снижения уровня холестерина в организме

имело следующие побочные действия:

– выпадение волос без надежды на их повторное прорастание;

– облезание кожи с шелушением, краснотой, зудом и чешуйчатой лекарственной экземой;

– слепота временная и иногда (в 12 процентов случаев) постоянная;

– глухота постоянная;

– в отношении репродуктивных органов: сухость влагалища и, помнится, выпадение матки у женщин, и – от частичного до полного исчезновения потенции – у мужчин.

О потере памяти, остеопорозе (ломкости костей в результате вымывания кальция) и ранней деменции стоит ли говорить. Зато уровень холестерина снижался на много, много процентов! Было от чего хохотать-то!

При этом производитель честно заявлял, что прямой связи между этим уровнем и предупреждением инфаркта не наблюдается; продолжительность жизни тоже – нет, не увеличивается. Но уровень-то низкий! Ура-ура!

А теперь, значит, ешьте полезный жир.

А сегодня была я в одном заведении, до которого новая жировая религия еще не докатилась; они по старинке работали на шарлатанском понятии «детокс». Все у них служило этому мифическому детоксу, например; «Тар-Тар из Лосося с авокадо, манго и рукколой в апельсиновом соусе». «Лосось» с прописной буквы это не потому, что это его фамилия, а это такая особая ресторанторская манера – так, в меню была «Куриная Грудка» и даже «Два Яйца».

Гуакамоле с водорослями Нори тоже были детокс; Салат из Свеклы с какой-то херней тоже, и даже Муджадра тоже была детокс.

Не спрашивайте у меня, кто такая Муджадра. Главное, каждое пятое блюдо обладало необыкновенной способностью выводить из организма воображаемые шлаки. По-моему, гениальная разводка, достойная жуликов, воспетых О'Генри: «Три доллара?! Свинец, из которого сделано это золото, и тот стоит дороже!»

В юности мы все время натыкаемся на слезливых старух, которые, вздыхая, поучают нас: «Главное, доча, здоровье. Здоровье, доча, береги!» А как шестнадцатилетняя доча должна его беречь, здоровье-то это? Которого девать некуда? И которое хочется развеять по ветру, растратить щедрой рукой, пустить колесом под горку! Как?

Жиром и детоксом, доча. Аминь.

В Европу

В Питере на площади перед Балтийским вокзалом скверик. Сижу на скамейке, жду автобуса на Таллин. Рядом тоже пассажиры: женское семейство, состоящее из бабки, дочки и внучки. Бабка размножалась клонированием, так что все трое скроены по одному лекалу: коротенькие, верхняя половина туловища в два раза толще нижней, шеи нет. Одеты они в разнообразное розово-оранжевое, так что если б им на голову приделать зеленую ботву, они могли бы зачем-нибудь иллюстрировать стадии мутации морковки.

Все трое едят мороженое.

Дальше на скамейке сидит старая отрешенная дама в шляпке, время от времени бросающая хлеб голубям. Голуби шумно слетаются, отталкивают воробьев, но клевать хлеб не хотят, они пресыщены. Только пыль поднимают.

Еще дальше на скамейке сидит господин в рубашке с коротким рукавом, уместным в этот жаркий день. Пожилой, приличный. Чистенько одет. Так сказать, буржуа. Русский, но живет, очевидно, в Эстонии. Обмахивается проездными документами. Жарко.

Медленно, покачиваясь, подходит привокзальный пьяница.

– Большая человеческая просьба… Побеспокоить… Дайте пятнадцать рублей…

Приличный заводится с пол-оборота:

– Пятнадцать рублей?! Почему именно пятнадцать? Ты хочешь выпить?.. Ты уже напился с утра!.. Сколько тебе лет?.. Пятьдесят есть?.. Ты не работаешь?.. Почему ты не работаешь?.. Ты должен работать!.. Ты еще не старый!.. Ты мог бы!.. Пойди в магазин, таскай ящики!.. Ты можешь таскать ящики!.. Работа найдется всегда!.. Я вот работаю с молодых лет!.. Я тружусь, я заработал на квартиру, у меня семья! Я ее обеспечиваю! А ты пропиваешь свою жизнь!.. Посмотри на себя!.. Вот такие в семнадцатом году и разорили Россию!.. Не хотели работать, не хотели стараться! Все за счет работающих!.. За счет тех, кто хотел честно трудиться!..

– Да, да, – кивает головами генно-модифицированное женское семейство. Старая отрешенная дама отщипывает кусочки булочки и бросает в пыль. Опять шумная возня голубей.

– В семнадцатом году!.. С семнадцатого года!.. Вас распустила советская власть!.. Вот такие, вот такие как ты, бездельники, на чужом горбу хотите в рай въехать!.. Вам лишь бы за чужой счет!.. Это советская власть!.. Я в детстве тоже был

пионер и ничего не понимал!.. Но потом понял!.. У меня была тетка, она все понимала, но тогда было опасно, и она молчала!.. Я был пионер, я пришел домой и вот так вот отдал честь, я был в галстуке! В пионерском. А тетка моя сказала: о господи! – и я тогда вот не понял, но теперь-то хорошо понимаю!.. Человек должен трудиться, не лодырничать, не тунеядствовать, не бездельничать!.. Ты местный? Откуда ты?

– Я с Белоруссии… – мается пьяница. – Приехал – вот… – он поводит рукой, теряет равновесие, но ничего, не падает. Голуби немножко отодвигаются, но не улетают. Ждут чего-то получше, чем сраная эта ваша булочка.

– С Белоруссии?.. И что?.. У нас единое государство! Имеешь право!.. Ты можешь работать, таскать ящики!.. Что с того, что ты белорус? А?.. Это не оправдание такого образа жизни!..

– Пятнадцать, а? – говорит пьяница тусклым голосом.

– Что пятнадцать?.. Что пятнадцать?.. Одному пятнадцать, другому пятнадцать! С утра начинаете приставать, а надо вкалывать! Как мы жили? Трудно жили! Но взяли землю и обрабатывали! И все было, и картошка, и капуста! А ты? А вот он?.. – приличный господин указывает пальцем на гигантскую клумбу, занимающую весь центр скверика. Клумба представляет собой курган, на котором – длинная бетонная полукруглая стена, лента с бесконечной надписью: «народным ополченцам ленинского района – героическим защитникам города ленинграда…», остальное – за пределами поля зрения. Не в столбик, а в строку, – много, много метров равнодушия. Такой заказ зубами вырывали. Шестидесятые годы, раздолье архитекторам, кто понимает. «Шрифтовое решение», простой бетон, а вот подсуетился – и, глядишь, дачку построил. Но господин указывает не на бетонный ужас, а на лежащего на кургане второго пьяницу, уже, очевидно, получившего свои пятнадцать и достигшего чаемого блаженства. Вечер жаркий, травка прохладная, хорошо ему.

– Вот! Вот он!.. Я их называю «по пьянке деланный»!.. Это же уже не человек! Потерявший всякий человеческий образ! Плюется тут туберкулезными своими плевками!..

До белоруса доходит, что в этом лектории ему не подадут, и он медленно, шатаясь, отходит к дальним скамейкам, там где загибается за горизонт «…города ленинграда…» и где сидит в обнимку молодая парочка. Там ему подают.

– Ишь!.. Да… Эти дали… – комментирует женское семейство, облизывая мороженое. – Смотри, пошел… Сейчас напьется…

Буржуа возбужден, ему хочется говорить еще, он ловит глазами взгляды собеседников. Но морковные женщины

не слушают его, я делаю вид, что пишу эсэмэску, а старая дама погружена в себя – и в бессмысленное кормление обожравшихся, толстых голубей.

Тут внезапно просыпается товарищ, валявшийся в отключке на клумбе. И, действительно, как и обещал буржуа, он харкает и плюет вдаль огромным белым плевком, реально огромным, размером с ватный шарик. Причем не вставая: лежит на спине и плюет. Далеко. Метра на два.

– Опа, – говорит женское семейство.

Не замечая туберкулезного, мимо клумбы и героических защитников идет женщина с девочкой. Туберкулезный опять плюет ватным плевком. Плевок – ну вот промедли они секунду – попал бы прямо в девочку, но они проскочили. Туберкулезный встает. Голуби, заинтересовавшись, идут к нему. Туберкулезный неожиданно зычным голосом обращается к голубям.

– Спасибо! Спасибо, что все открыто, по-русски!.. А воровать не надо!.. Подойди, возьми, а я дам!.. А воровать не надо!..

Голуби немножко отступают.

– Иначе поймаю – руки обломаю!.. Понятно?! Ясно вам, блять?.. Блять… Глухой, слепой, незрячий инвалид!.. Инвалид такое сделает – на всю жизнь запомнишь!!! Будешь ходить как я инвалид сейчас!

Туберкулезный показывает голубям кулак, они отскакивают, он сморкается в подол своей голубой рубашки, потом расправляет ее, обдергивает, борется с рукавами пиджака.

– Бог дал, бог и взял, блять!.. Я воевал, блять!.. Понятно?..

Еще плевок.

Но тут подают наш автобус, и все – подавшие, не подавшие, евшие и кормившие, – мы подхватываем свои кутули и чемоданы и лезем в этот автобус, и едем в Европу. В ближнюю, еще незрелую, еще такую неустоявшуюся Европу, где граница заросла пырьем и лопухами, и где в зеленом овраге, прямо посреди города, на бельевой веревке сушатся чьи-то розовые, доверчивые штаны.

Мне стыдно

На фоне кошмарных и опасных событий – война на Украине, в Украине, с Украиной, из-за Украины, за Украину, против Украины, – реанимировался, укрепился и расцвел старый добрый тренд «мне стыдно».

Прекрасное изобретение. Эдакий дисклеймер. Текст строится так: «Сижу в прекрасном ресторане, ем вкусные вещи. А в это время… (расстреляли колонну беженцев, кто-то сбил самолет, кто-то умер, потому что болел, кто-то умер, хотя и не болел, etc.). О, как мне стыдно. Но что же я могу поделать. Мне очень стыдно!»

Я никого не цитирую, я обобщаю. Читала и слышала раз восемнадцать, а потом сбилась со счета. («Утром мажу бутерброд – сразу мысль: а как народ?» Давно и прекрасно сформулировано.)

Персонаж романа Чернышевского «Что делать?» Рахметов не ел апельсинов, так как народу они недоступны. (Меня всегда интересовало: а чего бы Рахметов не ел, случись ему мутить народ в Италии? Там апельсинов как у нас огурцов. Он отрицал бы манго?) Но он хотя бы их не ел, хотя, по-моему, это глупо: мог бы есть и тем самым способствовать созданию рабочих мест, потому что кто же грузил апельсины бочками? братья Карамазовы, что ли? Рабочий класс, надо полагать, и грузил, народ то есть. Но у Рахметова были крупномасштабные планы: все развалить к чертям собачьим, строй вот этот проклятый, и тогда, конечно, апельсины сразу зацветут и хорошо уродятся, и народ понесет с базара не милорда глупого, а вот эти апельсины и всякие киви и авокады.

Я считаю, что тренд «мне стыдно» образовался как результат развития рахметовских идей с поправками на время и обстоятельства. (Сама-то практика религиозного аскетизма насчитывает несколько тысяч лет, но здесь речь о России и ее обозримом и задокументированном прошлом. «Воплощенной укоризною ты стоял перед отчизною, либерал-идеалист!»

Причем герои Чернышевского – люди практические; в романе не говорится, но глухо намекается, что верный путь – это наварить гремучего студня и бросить под ноги тиранам и кровососам, дабы приблизить Всеобщее Счастье с апельсинами. Нынче же всё совсем не так; стыдящиеся граждане – мирные и законопослушные, кровососущего комара не прихлопнут, а бережно соберут щепотью и выпустят в вечереющее окно: лети, малыш! Едят неплохо, сорта сыра различают, потому что зачем же

их не различать? Корреджо от Караваджо ведь всякий отличит, то же, если подумать, и с Грана Падано. Но надо непременно сообщить миру и людям, что тебе стыдно. Тогда порядок.

Потому что ожидается, что придет толпа не то, чтобы праведников, но их представителей, вопрошателей с тревожными очами, и тыкнет перстами, и завопит: и тебе не стыдно?! И надо подавать сигналы, надо заранее, до их прихода, включить проблесковый маячок: мне стыдно! Мне стыдно! И устрица горчит, и террин из утки как ватный!

И вопрошатели опустят указующие персты и скажут: хорошо, этот очистился, пойдем вопрошать следующего. И можно спокойно доесть, и корочкой подобрать соус с тарелки.

Счастливые люди

Давно было, я только на телевидении начала работать. Телевидение еще программы показывало, параноидально подсчитывало рейтинги, волновалось о рекламе, а Отдел Говна и Пропаганды был временно закрыт.

Вот стою на станции метро «Новослободская», в вестибюле, жду Евдокию Захаровну, она мне денег должна. Смотрю на наплывающую ленту пассажиров.

Неверными ногами подходит ко мне пьяненький – запах дрожжей ему предшествует – майор вневедомственной охраны, – так он представился, а я полки-та не различаю, как Грибоедов нам и заповедал.

Поклонник мой, стало быть. Узнал меня. Работал, говорит, раньше на ТВ. Пожарником. Стоит, покачивается, алкогольно улыбается; просветлен.

– Вы, – говорит, – фабула, костяк и звено!.. Да. И ник-к-какие силы не заставят меня переключить кнопку! А вот я вам стихи свои почитаю…

«Ой», – думаю.

– Твое каштановое тело
Мне как-то довелось познать!..

И дальше, высоким штилем, с оглушительными подробностями, которые я, к сожалению, дословно не запомнила.

– Реальный случай? – осторожно так спрашиваю.

– Ну что вы! – задребезжал майор, самому смешно стало. Потом затуманился. – Что вы… Я б тогда разве смог написать так… Я вам еще почитаю, у меня много.

И стал как-то шарить по карманам, будто у него там стихи.

– Может быть, в следующий раз? – предложила я. А там в восходящем потоке уже и макушка Евдокии Захаровны показалась.

– Я родился-то килограмм четыреста грамм! Семимесячным! – вдогонку крикнул пожарник-поэт. – Счастлив жить!.. Девки так и липнут!.. А жена не любит, уйдет!.. Ну и что!.. У меня и первая-то умерла!..

Евдокия Захаровна увеличилась в росте, сошла с эскалатора и мы с ней обнялись. Она отдала мне долг, а еще сунула пакет с котлетами и банку с солеными огурцами, потому что я на тот момент была бездомной и жить мне было негде, а она, бывшая

моя квартирная хозяйка, только что, в свои семьдесят пять лет, вышла замуж за человека восьмидесяти лет от роду. У обоих уже были правнуки.

– Я и не знала, что такое счастье в жизни-то бывает, – сказала мне Евдокия Захаровна. – Каждый прожитый день – счастье. Сколько нам дней-то осталось?.. Господи, благодарю тебя за каждый день!

Муха

Рывком дернув молнию чемоданчика, нечаянно прихватила с собой греческую муху, которая обрела элефтерию только в Домодедове, к своему ужасу.

Ошеломленная, она озиралась и не могла понять, что происходит – где лазурь Ливийского моря? Где апельсиновые рощи и златые плоды в темных кронах дерев? Где сладко гниющие на солнце помойки с заизюмленным виноградом по 1.50?

Температура, клонящаяся к нулю, светлое мутное на горизонте, желтые рощи, серый купол, холодный ветер. Она зажужжала и унеслась, в полном отчаянии и помешательстве. Что я могла сделать? Чем помочь? Прости! Могло быть хуже. Привыкай! Конечно, тут неуютно, и люди какие-то невеселые, и скоро зима.

Но говна много, птица моя. Говна на всех хватит.

Свинья

Лежали с сестрой на пляже. В полутора метрах от нас расположилась компания смешанного состава: молодая гречанка, ее дочь лет восьми, молодой немец, его жена и их пятимесячная девочка. Еще у немцев был сын лет шести, за которым они не следили, а мальчишка меж тем самозабвенно кидался в волну, да так, что один раз она накрыла его с головой и опасно потащила за собой в глубину.

В этой этнической комбинации разговаривали они между собой по-английски, так что нам все было понятно, и мы, к сожалению, узнали и сколько кому лет, и где они живут, и куда ездят отдыхать. Вернее, разговаривал молодой папаша; у других просто не было возможности вставить слово. Говорил он громко, перекрикивая шум моря, мешая нам читать и доводя даже до некоторого озверения, тем более, что волей-неволей беспокойство за его безнадзорного сына не давало сосредоточиться.

– Я расскажу вам одну историю, – начал немец. – Это очень страшная история, но я расскажу, хотя в ней много неприятного. Готовы ли вы выслушать мою историю?

Жена, младенец, гречанка и восьмилетняя девочка были готовы.

– Десять лет назад я был в Индии. Индия – очень красивая страна. Волшебная! Но это – страна контрастов, – начал экспозицию немец. Я невольно прислушалась: со времен советского телевидения про страну контрастов мне слышать не приходилось.

– Я путешествовал со своим рюкзаком. И вот я шел по берегу моря. Очень-очень красивого теплого моря. Океана. Ты знаешь, что такое океан? – спросил он восьмилетнюю девочку. Та кивнула. – Ну вот. И мне понадобилось в туалет. Вы понимаете меня. Я долго шел. – Он сделал паузу, чтобы к женщинам пришло понимание.

Оно пришло.

– Я посмотрел по сторонам – негде укрыться. Можно было бы зайти за кусты. Но там неподалеку были люди. Они могли меня заметить. А мне нужно было некоторое время. Вы меня понимаете. И вот я подумал: что же мне делать? И увидел ресторан. И я обратился к владельцу ресторана с вопросом: где я могу найти туалет? И знаете, что он мне сказал?

Нет, женщины не знали.

– Он сказал мне: вам нужно номер один или номер два?..

Вы понимаете, что это значит?

Женщины кивнули. Я тоже невольно вычислила, что это значит.

– И вот мне нужно было номер два. Потому что я очень долго шел со своим рюкзаком, так что мне нужно было номер два! И я сказал владельцу ресторана: мне нужно номер два.

Мы с сестрой переглянулись и затаили дыхание. Уже невозможно было уползти, не узнав конца истории. Люди на соседних лежаках тоже оторвали головы от изголовий, прислушиваясь. Море ревело, срывая и унося слова рассказчика. В волнах барахтался и все никак не мог утонуть его сынок, женщины сидели в рядок и готовились узнать во всех подробностях историю о том, как облегчился глава семьи там, в далекой волшебной Индии.

Между тем он вскочил на ноги для удобства телодвижений и стал изображать дальнейшее жестами, чтобы рассказ получился более выпуклым.

– Идите во-о-он туда, сказал мне хозяин ресторана. – Немец показал голосом и рукой далеко. – Но только там еще недостроено! Ничего, сказал я, так как мне правда было надо. Правда.

Убеждая, он приложил руки к груди и сделал немножко жалобное лицо, как будто просился переночевать без денег в дождливую ночь.

– А там вместо стен, – продолжал он, – такие соломенные маты. – Он показал руками, как они стоят. – И вот я туда захожу и вижу: все чисто так! Видимо, я там был первый. – Он засмеялся и уточнил: – Первый пришел, поэтому было еще чисто. – Он провел руками в горизонтальной плоскости, словно разглаживая покрывало на постели. Чтобы без комков. – А посреди пола – дырка. Вот такая. Вот такая! И оттуда просвечивают солнечные лучи.

Женщины сидели к нам спиной, поэтому выражения их лиц мы не видели. Между тем артистические способности немца расцветали с каждой фразой.

– И вот я присел. – Он показал, как он присел. – Я снял штаны! – Он реально рванул свои пляжные трусы; только поза на корточках помешала ему полностью обнажиться и продемонстрировать то, чего видеть бы не хотелось. – И я начал делать номер два! Ы-ых! Ы-ых! Вы понимаете меня?

Ребенок практически утонул в бушующем прибое, – было два часа дня и поднялся ежедневный ветер, – но я уже не могла больше отвлекаться на немецкого ребенка, захваченная отцовским рассказом. Черт с ним, пусть тонет.

– И вдруг! Из дырки раздался такой визг, такое хрюканье! У-и-и-и-и-и-и-и! У-и-и-и-и-и-и-и! Хрю, хрю, хрю! – чудесно изобразил немец. – Я отпрянул, не доделав! У-у-упс! Прямо прервался посреди!.. Испугался! – Он захохотал. – А там – свинья! Да, свинья! И не розовая, а черная такая! – Он зашелся в смехе; он был блондин, поэтому лицо его на минуту стало малиновым. – Понимаете? Свинья! И все, что сверху делают, падает ей на глаза! А она снизу смотрит, – он изобразил, как смотрит снизу индийская свинья, вытянув морду с подвижным пятачком, – а все ей падает на глаза!

Он похлопал себя по глазам. Отсмеялся, утер лицо ладонью, поддернул спущенные для наглядности штаны, качая головой, весь во власти воспоминания. Женщины молчали. Мы, застыв, молчали тоже. Мальчик выполз из волн на четвереньках, кашляя, но живой.

«И синее, синее море у берега бешено пело».

Самый короткий день

Странное, волшебное и грустное чтение – «Общероссийский классификатор профессий рабочих и служащих». Карла бы сюда Линнея! – или нет, не надо: он со своими таксонами сядет в сторонке на стульчик, отбросит гусиное перо и горько заплачет. Не работают здесь его таксончики-то. Лучше юношу, обдумывающего житье. Сюда, юноша! Смотри! Кем бы стать? По какой неведомой дороге пойти в эту взрослую жизнь? Что там, за светлым горизонтом? Куда устремить ясный взор, где применить жар души, кипение сил?

Вот профессия № 11529: «Выгребальщик пуха и отходов». Пойдет? Или не надо?

Или № 14527. «Мойщик сыра».

А может быть, № 15206 – «Обкатчик клюквы»?

«Приемщик яиц».

«Составитель фарша».

«Халвомес».

«Закальщик мороженого».

«Вивщик колец».

О, пытливые глазенки мальчика, загорающиеся при мысли о выборе: стать ли ему «Изготовителем звукопоглощающих клиньев» или «Замыливальщиком ткани»! Мальчик, бери выше! Ты можешь стать «Пропарщиком лао-ча»!

Юноши, положим, бывают разные, и склонности у них бывают прямо противоположные. Пожалуйста, – классификатор предусмотрел набор профессий для брутальных мачо:

– «Боец скота».

– «Аппаратчик мокрой классификации».

– «Опрокидчик».

– «Привязывальщик».

– «Давильщик».

Для вспыльчивых и агрессивных:

– «Прожигальщик медицинских изделий».

– «Разбивщик сырья».

– «Разрубщик аккумуляторных пластин».

– «Машинист вагоноопрокидывателя»

(А начать можно с малого: «Раздирщик пакетов».)

Напротив, для юношей мирных и склонных к прекрасному предусмотрены:

– нежнейший «Окрасчик сиропа»;

– томный «Демонстратор пластических поз»;

– задумчивый «Просевщик бисера»;

– балетный «Делильщик кружев»;

– «Вырезальщик фестонов», эдакой затейник!

От порывистого «Бегунщика смесительных бегунов» до печального «Выгрузчика пыли» – любая работа, для любого настроения и темперамента.

А вот «Сборщик чемоданов из фанеры». Он непростой. Он не такой как все. Это отдельная профессия. Кто ваш возлюбленный? – Он сборщик чемоданов из фанеры! Сюда же относится «Лакировщик глобусов», всеобщий любимец. Я вижу их вместе. Кто пойдет третьим? – «Гнутарь по дереву». Красивое трио! Вижу их уходящими куда-то вдаль, в солнечное, невнятное марево.

Но отчего-то – сама не знаю отчего – грусть и жалость испытываю я, читая этот бесконечный список. Сколько я знаю профессий? Три-четыре дюжины, наверное. И все такие неопределенные: врач, учитель, музыкант, инженер. Летчик. Продавец. Слесарь. Солдат. Поэт. Землекоп. Почтальон.

А тут меня, оказывается, окружают какие-то неизвестные мне люди, люди, люди, люди, люди; ранним утром, когда я с первой чашкой кофе стою у окна и смотрю на темную улицу, неприютную, мокрую от декабрьского дождя, они зажигают и гасят окна в квартирах, они садятся в троллейбусы, они спускаются в метро, они едут на свои печальные, странные, но, наверно, очень нужные работы.

– «Заточник карандашей, стержней и палочек».

– «Изготовитель саговой крупки».

– «Конопатчик электрощеточного производства».

– «Машинист опудривателя окатышей».

– «Разводчик (распусчик) холяв».

Что мы знаем о них? Вон идет какой-то, огибает лужу с жидким плещущимся в ней разливом фонаря, на нем шапочка петушком и темная куртка, – кто он? «Кладчик стекла на поливную машину»? «Машинист автомата для завертывания книг в суперобложку»? Ужасный «Обжигальщик игрушек»? Труднопроизносимый «Перекристаллизаторщик»? Как он объяснит своей дочери, кто он? Кто твой папа, девочка?

И какие странные союзы они, наверно, образуют, эти люди! Встретятся «Варщик шубного лоскута» и «Варщик щетины и волоса», начнут дружить домами. Выпивать по выходным. Ходить на лыжах, может, вместе. Много общего у них. Но и разница огромная! Я боюсь, что они, выпив, начнут выяснять отношения: чья профессия лучше; я не могла бы их рассудить, нет, не сумела бы!

«Сыросол» и «Сыродел». Почему это две профессии,

а не одна? Как их отличить? По родинкам? Встретившись, смогут ли они посмотреть друг другу в глаза? Они конкуренты? Или потерявшиеся в детстве двойняшки? Можно ли им пожениться?

«Растильщик грибницы» и «Просевальщик порошков». А этим можно жениться? Иметь общих детей? Какие они будут?

А вот «Резчик свеклы». Он одинок. Нет в классификаторе ни резчика морковки, ни резчика картошки, ни резчика брюквы, ни резчика капусты, ни резчика соленых огурцов или там лука. Только свеклы. Номер 17951. Не с кем поговорить. И тишина. Только глухие всхлипы Карла Линнея.

В российском классификаторе тысячи позиций, – больше сотни Контролеров, около 450 Машинистов, вплоть до самых утонченных («Машинист агрегата изготовления стирательной резинки»), бесконечные Лаборанты, Слесари и Формовщики, и все они непрерывно что-то вальцуют, волочат проволоку, вулканизируют, запаривают брикеты, натягивают и наваливают, вспенивают, гранулируют, прессуют и сушат. («Сушильщик длиннотрубчатых макарон» – мелькнул и нет его; ближайший его собрат – «Сушильщик пищевой продукции». Почему длиннотрубчатые макароны удостоились отдельной строки в классификаторе? Что в них такого особенного? Карл Линней протягивает к нам сухие, натруженные руки: остановитесь! одумайтесь!)

Странно это, странно и тягостно, но когда читаешь, страницу за страницей, этот классификатор, возникает ощущение, что на дворе – пятидесятые, что страна завалена снегом от края до края, и весна не придет, и никогда не рассветет, и нет городов, нет летних кафе, облачков и воздушных шариков, нет пестрых платьев, каблуков и шампанского; нету, конечно, кофе, нет той тысячи привычных товаров, которые мы бездумно берем с полок или выписываем по интернету. Вон оно что, вот в чем дело-то: страна почти ничего не производит. Пакля, пенька, картон, фанера, махорочная пыль, пробковая крупа, рыбная мука, коконные отходы (и «Отварщик» к ним), какие-то трясильные машины, сучкорезные установки, песколовки и жироловки, дрожжи, дрожжи, опять дрожжи, синелька, зубочистки. «Ловец безнадзорных животных», «Очесывальщик барабанов» и «Крепильщик мандрен», не спрашивайте, что это такое.

Но две вещи, очевидно, все же производятся в России, два главных предмета, две основы, две опоры, на которых стоим.

Это – кролики и спичечные коробки.

«Аппаратчик сушки спичечных коробков». «Аппаратчик по производству сухой спичечной соломки». «Изготовитель

специальных спичек». «Намазчик спичечных коробок». «Приготовитель спичечных масс». «Оператор станка для укладки рассыпных спичек», – и так далее, и так далее; то же и с кроликами. Есть просто «шкурки» – и есть «шкурки кроликов». Есть мех вообще – и есть мех кроликов. Есть стоящий особняком «Сушильщик шкурок кроликов». Есть «Приемщик-сортировщик живой птицы и кроликов». Есть просто «Повар», простой человек, и профессия, очевидно, простая, а есть – о! – сам «Приготовитель кулинарных изделий из мяса птицы и кроликов». Есть «Обработчик кроликов» – ни одно другое животное не удостоилось своего, адресного специалиста.

Кролики и спички, спички и кролики. Загадка. Тоска. Мрак. Через бесконечное снежное поле, проваливаясь по колено, идет «Приготовитель активных масс». На нем негреющая кроличья ушанка, руки зябнут, не видать ни зги. Но вот навстречу из снежных порывов, из переметов вырисовалась фигура – это, должно быть, «Расфасовщик нюхательной махорки и табака». – Нет ли огоньку, товарищ? – А как же! – закурят, чиркая и бросая ломающиеся, отсыревшие, но родные, родные спички. – Бывай, земляк!.. – и снова в метель.

А может, это просто 22 декабря, самая длинная ночь в году. Что тут у нас еще хорошего? – да, тут есть бригады демонов смерти и распада:

«Аппаратчик разложения»

«Аппаратчик рассева»

«Аппаратчик растворения».

И какой-то оглушительно жуткий «Дверевой».

Отвернемся от них. Завтра день станет длинней на минутку. Завтра солнце задержится чуть подольше. Прибавится света, по одному спичечному огоньку за раз. Все будет лучше, чем вчера.

Последняя длинная ночь. Смотрю на пустынную улицу, – нет, идут трое. Кто они?

«Завивальщик спиралей».

«Вздымщик».

«Смотритель огней».

Все будет хорошо, дорогой Карл.

Золотой век

Лилит

[1]

Они смотрят непристально, они ни во что не вглядываются, словно все вещи цветущего окрест мира не имеют для них большого значения. Мир цветет и колышется, течет и искрится, переменчивый и зыбкий, как морская вода. Вода же пляшет и бежит во все стороны, оставаясь на том же месте, ее не поймаешь взглядом; а если будешь долго смотреть – и сама станешь водою: светлой поверху, темной в глубинах. Они смотрят на воду, они сидят у воды, они сами – вода, эти женщины начала века, ундины, наяды, глубокие омуты, двуногие воронки, венерины мухоловки. Сырые и пышные, в платьях, подобных пене в полете, высоко подколов волнистые волосы цвета ночи, или цвета песков, или цвета старого золота, укрыв лица кисеей, чтобы загар не пристал к сливочной коже, они сидят на морском берегу, на всех морских берегах нескончаемой, прерывистой белой полосой, словно рассыпали соль и размазали легкой рукой вдоль полосы прибоя. Они сидят, они лежат, бескостные, струящиеся, охотно слабые, – чудное розовое, непропеченное тесто с цукатами родинок; тронь пальцем – останется ямка.

Тронуть их страшно; очень хочется, но страшно: а вдруг, если нажмешь посильней, ухватишь покрепче это бело-розовое, пухло-податливое, влажно-рассыпчатое, оно – ах! – и растечется, уйдет волной и пеной назад, в море, откуда пришло. Вот и ученый доктор Жук, строгий, знающий, в очках, в сюртуке и галстуке, тревожно пишет в своей научной книге «Мать и дитя. Гигиена женщины», изданной в 1906 году, что многие не понимают, не учитывают хрупкости женского здоровья, особых требований, налагаемых природой на нежную, на рассыпчатую. Есть такой обычай, – волнуется доктор Жук, – есть опасный обычай: сразу из-под венца везти молодую женщину в свадебное путешествие, и особенно норовят в Италию. Тяготы же путешествия, необходимость в частом передвижении, перемещении с места на место могут губительно сказаться на женском здоровье, а почему? Потому что молодой супруг, с вполне простительной для медового месяца порывистостию, иной раз предается страсти в утреннее или дневное время, то есть тогда, когда уже нужно собираться и ехать дальше; женщине же после соития необходимо по крайней мере шесть часов отдыха, желательно в затемненной комнате и при полнейшем покое, в противном случае она не успевает восстановить силы, оправиться после потрясения.

Напугав, доктор Жук откланивается и вновь скрывается

в тиши кабинета; растирая усталые глаза, вновь садится разрабатывать научные бандажи для промежностей, гигиенические лифы для молочных желез, хомуты и шлеи для тазовых костей, ловить решетом воду, но воду не поймаешь, не ухватишь – всегда протечет, утечет, процветет на морских берегах. Вот они сидят и колышутся, – русалки, росянки; рассеянно слушают, как колышется внутри них их собственное, внутреннее море, рассеянно смотрят синими и зелеными глазами в зеленый и синий, бегучий и пляшущий на ветру внешний простор. Белые водовороты тел увенчаны шляпами, каждая как клумба, как сад, как взбегающий на гору город. Легкие, пышные цветники; трехъярусные колеса; взбитый белок; пышноскладчатые и ниспадающие, закрывшие пол-лица, закрывшие лохнесский изгиб белой шеи, в парусах и розах, в шорохе стекляруса, – черные муссы, сиреневые водопады, палаццо, колоннады, гаремы, терема, башни и облака, населенные всеми пернатыми: от страуса, не умеющего летать, до ангела, живущего только полетом.

Они смотрят, но не всматриваются, они прикрыли глаза кисеей и вуалями, – на что им мир, он уже пойман, уловлен, водружен на голову! Женщина начала века несет весь мир на голове, – весь мир мечты на проволочном каркасе, обмотанном муслином, – и ей не тяжело, доктор Жук, ведь это только мираж: работайте себе спокойно, вычерчивайте на вощеной бумаге конструкции бандажей, все равно скоро все рухнет, сгорит в пожаре. Они смотрят со старых черно-белых фотографий, с той стороны времени, приветливо и непристально, они стоят чуть поодаль друг от друга – мешают поля шляп. На одной шляпе – сирень, на другой – крыло райской птицы, а эта захотела пришпилить целый корабль. Я цвету, я летаю, я сейчас уплыву! Светит белое солнце, резную тень бросают черные деревья. Приоткрыты ротики – зубастые моллюски; затененные глаза любуются сами собой. Скоро, скоро мировая война, всех сырых и нежных перемелют на рыбную муку, перламутровую чешую смоют в море шлангом, островами по водам уплывут шляпы-вертограды, и обморочных пациенток доктора Жука затопчут на военных дорогах.

А может быть, это они его затопчут. Какая-нибудь Сонька-комиссарша, эскадронная шкура, в кожаной куртке с мужского плеча, в короткой юбочке из барской портьеры, в фуражке с лакированным козырьком на стриженом затылке покажет гражданину Жуку, близорукому буржуазному спецу, кузькину мать где-нибудь в киевской кукурузе. Пых! – синий дымок, и нет Жука, а золотые его очочки, наверно, с гоготом будут надевать

на реквизированную кобылу. Время пыльных дорог, телег, костров, вшей, солдат; волосы стрижем коротко, моем быстро, передвигаемся перебежками. Рыхлые, пухлые, слепые, трепещите. Еда – роскошь, сон – прихоть; плоть суха и жилиста, лучшее тело – как у солдата или балерины. Юношей убили по всей Европе, шесть часов полагающегося отдыха что-то затянулись, – никто не придет. Что ж! Из затемненной комнаты выходит преображенная женщина, женщина-мальчик, тонкая, как игла.

Бёдра – долой, грудь – в корзину истории. Стыдно иметь талию, талия спускается вниз, почти к коленям; от былой пышности, как привет, как письмо, как дальнее эхо, остается лишь бант или роза. На маленькой головке, словно на память о фронтовой канонаде, – скупая шляпка-грибок, копия немецкой каски, пустой перевернутый походный котелок, – нет каши, съели. Шляпа-каска глубоко надвинута на глаза, – не смотри, не всматривайся, не заглядывай, ничего не прочтешь. Под такой каской хорошо затаиться, хорошо думать, что делать дальше, а если сама ничего не видишь, так что с того? Вижу, куда ступаю, вижу тесный подол, стреноженные лентой коленки, вижу бант, вижу круглые булыжники, тупые носки туфель, – а что, кто-нибудь видит больше и дальше? «В Европе холодно, в Италии темно. Власть отвратительна, как руки брадобрея…» Хорошая каска закрывает и уши. Военная каска и красный рот – монмартрский вампирчик, сирена петроградских трактиров, призрак с пустыми глазами.

Впрочем, отъелись, встряхнулись, отогрелись, поставили горшок с красным бальзамином на окно, запели простые песни, талию вернули на место. Расчесали отросшие кудри, щипцами завили покруче, на такие-то локоны хорошо бы синий бархатный бант. Но бант – для красавиц и на праздники, в банте все же есть что-то вызывающее, разнузданное, не правда ли? – обычная же гражданка, на трамвае едущая в учреждение наравне с мужчинами, – и нет Жука, чтобы обеспокоиться тяготами ежедневного путешествия, разрушительного для здоровья, – обычная гражданка надевает берет. Берет – та же каска, только мягкая, смягчившаяся, уступившая и отступившая, уменьшившаяся в размерах, податливая. Хочешь – сдвинь его на затылок, хочешь – спусти на один глаз, притворись загадочной, сделай вид, что еще не прозрела, еще ничего не понимаешь. Хочешь – распуши волосы с обеих сторон, не нравится – забери их под тугой ободок, подними воротник пальто, папиросу в зубы. Ветер дует в спину, ветер разметал старые империи Европы и Азии, то ли еще будет! Будет нехорошо.

…Поразительно, однако, какими они оказались стойкими,

эти женщины тридцатых-сороковых-пятидесятых. Словно бы мир не рухнул опять, не перекувырнулся через голову, не разбил все стекла вдребезги, все страны – в щепу. Если первая мировая война раздавила бескостных наяд, превратила их в поджарых мальчишек, то вторая словно бы придала женщинам сил, показала, что дальше отступать некуда. Отчаянная, отважная женственность – попудриться перед бомбежкой, накрутить кудри на стреляные гильзы, а потом, после войны, снова и снова взбивать надо лбом валик поредевших волос, прикрывать затылок шляпкой-менингиткой – маленьким блюдечком, лилипутским напоминанием о былом величии. Женщина – это все еще шляпка, женщина без шляпки все еще не одета, не украшена. То это таблетка с дымкой вуали – крупной, редкой, не скрывающей глаз, случись им быть заплаканными; то нашлепка-ермолка с букетиком искусственной мимозы, то сползший от удивления на холку, вставший на попа овальный полуберет с бантом, гибрид строгости и легкомыслия. Шляпа пляшет по голове, выбирая удобный склон, елозит, не зная где остановиться, словно бы предчувствуя, что еще немного – и она слетит, покатится колесом в чуланы, старые чемоданы, помойки. Перед тем как расстаться с хозяйкой, шляпа распрямляется с глубоким вздохом, хорошеет перед смертью. Но, собственно, все кончено, можно не стараться. Широкополая соломенная пагода, ловко обливающая гладко причесанную головку, нужна только для того, чтобы было удобнее ее сбросить. Захочу – надену, захочу – сниму. Свобода, свобода! Вот и конец шестидесятых.

Если бы чудом воскрес и вышел из кукурузы доктор Жук, если бы добрел до Европы, избегая застав и ночуя в стогах, подслеповато щурясь, озираясь в поисках расслабленных, требующих немедленной поддержки, – он бы, наверно, рехнулся. Дик и страшен лик свободы для того, кто пропустил два поколения. Долой искусство, да здравствует природа, порвем оковы и ботинки! Вместо молодых, приличных женщин – таборы босоногих цыганок, табуны мотоциклетных менад. Вместо платьев – ночные сорочки, вместо шляп – волосы, волосы, волосы. Распущенные, висящие, болтающиеся, развевающиеся на ветру. В моде – простое солнце в волосах, белые зубы. В моде – огонь и горы, кочевья, привалы, кибитки, бубны, бусы из конских каштанов и арбузных косточек, индейцы и индусы, грибы и трава, длинные серьги, длинные плетеные ленты. Шляпу носят старухи да перуанки.

Шляпа умерла, да здравствует шляпа! Котелок, чалма, боливар, кика, капюшон, тюбетейка, кокошник, платок, ермолка, венец, феска, ушанка, треух, канотье, цилиндр, шапокляк, митра,

шапка-кубанка, шапка-невидимка, чепец, колпак, шлык, картуз, повойник, капор, фуражка, сомбреро, пилотка, берет, пирожок, папаха, – надевай любую, примеряй и хохочи! Носи что хочешь, все разрешено, ничто не важно: притворяйся боярышней или ковбоем, эмиром бухарским или околотошным – все одинаково прекрасно, мир есть театр, жизнь – шарада.

…В начале семидесятых годов, пыльным летним днем, когда город почти пуст, в троллейбусе, со щелканьем ползущем по Страстному бульвару к «Кропоткинской», часто, часто ездила сумасшедшая старуха. Я думаю, она просто каталась туда-сюда – я много раз ее видела. Когда я вскарабкивалась в троллейбус, уже нарочно, для издевательства чуть набиравший ход, – ведь интересно посмотреть, не упаду ли я, а остановить он всегда успеет, – когда, хватаясь за горячий поручень, привычно униженная, с тяжелыми авоськами я втягивалась и вваливалась внутрь, радуясь, что не до конца прищемлена в дверях, когда озиралась, запыхавшись, – сколько человек были свидетелями моего унижения? – меня встречал ее невидящий, благосклонный взгляд. С фальшиво-радостным изумлением, приятным случайному гостю, она приветствовала меня кивком головы, любезно глядя сквозь меня, в тот воображаемый, нетленный мир, где она до сих пор царила, никого особо не выделяя, никого не осуждая, всегда готовая поговорить о безусловно прекрасном, пустом, мимолетном, вроде погоды или цветов. Я проходила мимо, а она продолжала приветствовать то место в пространстве, которое только что занимала я, с тем же приятно-благосклонным светским равнодушием.

Она была большая женщина, широкая от старости, а не по природе; летнее платье, кремовое в букетиках, с короткими рукавами, надето было на нечистую ночную рубаху. Древнее, чешуйчатое от дряхлости лицо когда-то было белым; таким лицам идут черные брови, и старуха это крепко помнила. Широко, криво, неровно, дрожащей от паркинсонизма рукой она нарисовала себе эти брови, как делала это, привычно, без сомнений, семьдесят лет подряд, со времен первого поцелуя. Эта женщина, древняя как океан, пережила все геологические эры, не дрогнув, не струсив, не изменив, не покинув свой пост, подобно японскому солдату, верному императорской присяге.

На голове у нее было нечто вроде сиденья от плетеного стула, нечто, похожее на модель первого самолета, построенную пионером-двоечником, нечто, напоминающее старые бинты. Там, где сквозь бинты пробивалась проволока, они проржавели. Сбоку, прикрученная к проволоке черными нитками, раздавленная,

неузнаваемая, висела цветущая яблоневая ветвь.

Вот троллейбус приостановился, подобрал, почти прищемив дверями, еще одного гражданина – он шарахнулся от приветливой улыбки былой ундины, посмотрел с откровенным ужасом, отвернулся, снова посмотрел. Она одобрила его, кокетливо кивнула головой, – может быть, она подумала, что это доктор Жук. Внезапно легким движением она прихорошилась, пригладила остатки волос, выкрашенных в морковный цвет, поправила давно отсутствующую вуальку. Она отличала господ от дам; слепая, она все видела. Гражданин оторвал билетик и сел, хмуро, по-плебейски откровенно пялясь на красавицу начала века. Мне надо было выходить – я всегда выходила раньше нее, и я не знаю, куда увозил ее троллейбус. На прощанье она улыбнулась мне улыбкой счастья: ведь на нее смотрели, ведь она нравилась.

Она осталась там, где всегда была – «у моря, где лазурная пена, где встречается редко городской экипаж», там, где «над розовым морем вставала луна», там, где «очи синие, бездонные цветут на дальнем берегу», там, где море шумит, как мертвая, покинутая своим обитателем ракушка, где под плеск волны всем белым и нежным, вечным, как соль, снится придуманный дольний мир, обитаемый смертными нами.

Золотой век

[2]

Всем русским известна знаменитая ленинская фраза: «Каждая кухарка должна уметь управлять государством». Интересно, что он, ни разу в жизни не сваривший себе крутого яйца, мог знать о кухарках?..

А между тем в России была женщина, чьему умению управлять своим маленьким государством Ленин мог бы позавидовать.

…В 1861 году молодая русская провинциальная домохозяйка Елена Молоховец, умевшая вкусно готовить, опубликовала сборник из 1500 кулинарных рецептов. Казалось бы – подумаешь, событие! Прежде всего, это была далеко не первая и, уж конечно, не последняя кулинарная книга в России. А кроме того, 1861 год – год освобождения крестьян от более чем трехсотлетней крепостной зависимости, эпоха бурных преобразований русского общества, либеральных реформ и надежд. В это время как раз набирало силу движение за освобождение женщин от традиционной домашней зависимости, и тысячи молодых девушек рвались из своих патриархальных домов на свободу, мечтая об университетской скамье, а не о поварешке. Но именно этой книге, вышедшей в самый, казалось бы, неподходящий момент, почему-то было суждено мгновенно приобрести неслыханную популярность и пережить десятилетия. Разрастаясь и усложняясь, книга выдержала десятки изданий, дожила, вместе со своим автором, до революции 1917 года, разошлась в 250 000 копиях, и последние издания содержат уже около 4500 рецептов, не считая сведений и советов по постройке дома, устройству кухни, распорядку дня, науки ведения хозяйства и приема гостей, а также планирования обедов постных и скоромных, ежедневных и праздничных, для слуг и для хозяев, с приблизительной сметой расходов для всех случаев. (Одних только скоромных обедов – 600 вариантов!) После же революции, когда, по естественным причинам, кулинария переместилась из области прикладных искусств в науку теоретическую, а рецепты и советы Молоховец приобрели метафизические черты, имя ее стало почти нарицательным для обозначения той сказочной вакханалии обжорства, что бушует на этих пожелтевших страницах.

В тех русских семьях, где сохранились экземпляры этой старинной книги, по ней сейчас не готовят, разве что изредка и самое простое. И не только потому, что продуктов таких

в России больше нет, или они дороги, или же приходится сражаться со старинными мерами веса и объема или неопределенностью обозначений, вроде «очень жаркая печь» и т. д. Сам стиль жизни, воспринимаемый Молоховец как нечто само собой разумеющееся, давно и безнадежно канул в прошлое, изменились приоритеты, темп жизни ускорился, и при всей любви русских к вкусному и обильному столу, при всем гостеприимстве и умении соорудить из небогатого ассортимента кулинарные чудеса, никто уже не воспринимает накрытый стол как венец творения, и поглощение деликатесов перестало быть тем самодостаточным процессом, каким оно предстает из этого фолианта. Книгу Молоховец раскрывают, чтобы всласть посмеяться, чтобы со священным ужасом и трепетом погрузиться в это навсегда отошедшее время пищевых титанов, маньяков с луженым кишечником длиной с пожарный шланг, с желудками слоновьих размеров, с пастью античной Харибды, заглатывавшей целые корабли вместе с гребцами за один присест. Где оно, то чудовище, что, встав на рассвете, два с половиной часа жарит жаркое из серны, чтобы поспело к завтраку, а не то, опрокинув рюмку водки с утра, садится поглощать суп из пива со сметаной (в середине завтрака употребляются рейнвейнские вина, в конце – пунш; можно наоборот) только для того, чтобы к обеду, едва передохнув, снова выпить водки или вина (с закуской: маринованная рыба, копченый заяц, фаршированный гусь или груши в меду, 90 вариантов на выбор) и приналечь на суп с шампанским и пирожками (шампанское вливается в суп!), после чего последует еще одно обильное жаркое, а затем тяжелое, насыщенное сахаром и жиром, сладкое; а там уж недалеко и до вечернего чая с пятью видами хлеба, телятиной, ветчиной, говядиной, рябчиками, индейкой, языком, зайцем, четырьмя сортами сыра… Это не считая булочек, печенья разных сортов, «баб», варенья, апельсинов, яблок, груш, мандаринов, фиников, слив, винограда; но мало того: «к чаю» надо подать ром, коньяк, красное вино, вишневый сироп, шербет, сливки, сахар, лимон. Масло простое и масло лимонное, пармезанное, из рябчиков, с жареной печенкой, с миндалем, грецкими орехами, фисташками. С зеленым сыром. С натертой солониной. (Молоховец замечает, что все это «может заменить и ужин». Может, значит, и не заменять? Тут, кстати, вспоминаешь, что подзаголовок книги: «средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве».) Этот вечерний чай в духе Гаргантюа, по расчетам Молоховец, хорош для дружеской беседы, не продолжающейся далеко заполночь; с утра, стало быть, начинай все сначала: поросенок, баранья грудинка, пироги,

паштеты, фаршированные угри. Если же вам случилось быть вегетарианцем, то ваша прожорливость, по представлению автора, возрастает: ведь ни «жареная телячья головка и ножки», ни изжаренный на вертеле кабан, – увы! – не составят вашего завтрака. Стало быть, есть надо чаще и понемногу, а именно: утренний чай (а также сливки, сливочное масло, яйца), потом завтрак (основное блюдо плюс чай-кофе с «бабами», печеньем, булками), потом обед из ЧЕТЫРЕХ блюд, причем два последние – сладкие (кстати, русский обед – в середине дня, около 3 часов пополудни), через два часа после обеда – опять еда (ведь вы уже проголодались, правда?) и вечером – чай, схожий с описанным выше, но вегетарианский.

Молоховец специально оговаривает, что предлагаемые ею рецепты и советы рассчитаны на семью с обыкновенным аппетитом, среднего достатка, умеренных расходов. Но скромнейший, обыкновеннейший обед «четвертого разряда» мыслится ею как пир из четырех блюд. (Декабрь, обед № 11: Суп валахский с пирожками, Лососина холодная, Жаркое глухарь с салатом, Молочный заварной крем с карамельным сиропом.) Роскошные же званые обеды состоят из 11 перемен или даже более, ибо в этих случаях подается два супа, а бесконечные мелкие пирожки или сыры после десерта вообще не идут в счет, а перечислены, как нечто само собой разумеющееся, петитом. В этих торжественных случаях перемена вин, водок и ликеров совершается семь раз… и современный русский читатель, листая в ужасе 1000-страничный фолиант, начинает догадываться, почему ранние, юмористические рассказы Чехова иногда кончаются словами: «Тут его хватил апоплексический удар, и он умер».

И Чехов, и Гоголь, и Щедрин, и бесчисленные мемуаристы немало места на своих страницах уделяют описанию самозабвенного поглощения еды, процессу, буквально переходящему в оргию, занятию почти сексуальному. Сдержанность русской литературы в описании эротики, плотской любви с лихвой компенсируется многостраничными безудержными поэмами о желудочных радостях.

«…“Горка” уже уставлена, и такое на ней богатство, всего и не перечесть: глаза разбегаются смотреть. И всякие колбасы, и сыры разные, и паюсная и зернистая икра, сардины, кильки, копченые рыбы всякие, и семга красная, и лососинка розовая, и белорыбица, и королевские жирные селедки в узеньких разноцветных “лодочках”, посыпанные лучком зеленым, с пучком петрушечьей зелени во рту; и сиг аршинный, сливочно-розоватый, с коричневыми полосками, с отблесками жирка, и хрящи

разварные головизны, мягкие, будто кисель янтарный, и всякое заливное, с лимончиками-морковками, в золотистом ледку застывшее; и груда горячих пунцовых раков, и кулебяки, скоромные и постные, – сегодня день постный, пятница, – и всякий, для аппетиту, маринадец; и румяные расстегайчики с вязигой, и слоеные пирожки горячие, и свежие паровые огурчики, и шинкованная капуста, сине-красная, и почки в мадере, на угольках-конфорках, и всякие-то грибки в сметане, – соленые грузди-рыжики… – всего и не перепробовать…» Так описывает писатель Иван Шмелев (родился в 1873 г.) именинный обед своего детства. Это – еда для домашних, а вот и для гостей: «на постном отделении стола (…) во всю залу раздвинули столы официанты, – подавали восемь отменных перемен: бульон на живом ерше, со стерляжьими расстегаями, стерлядь паровую – “владычную”, крокеточки рыбные с икрой зернистой, уху налимью, три кулебяки “на четыре угла”, – и со свежими белыми грибами, и с вязигой в икре судачьей, – и из лососи “тельное”, и волован-огратэ, с рисовым соусом и с икорным впёком; и заливное из осетрины, и воздушные котлетки из белужины высшего отбора, с подливкой из грибков с каперсами-оливками, под лимончиком; и паровые сиги с гарниром из рачьих шеек; и ореховый торт, и миндальный крем, облитый духовитым ромом, и ананасный ма-се-дуван какой-то, в вишнях и золотистых персиках. (…) И скоромникам тоже богато подавали. Кулебяки, крокеточки, пирожки; два горячих – суп с потрохом гусиным и рассольник; рябчики заливные, отборная ветчина “Арсентьича”, Сундучного ряда, слава на всю Москву, в зеленом ростовском горошке-молочке; жареный гусь под яблоками, с шинкованной капустой красной, с румяным пустотелым картофельцем – “пушкинским”, курячьи, “пожарские” – котлеты на косточках в ажуре; ананасная, “курьевская”, каша, в сливочных пеночках и орехово-фруктовой сдобе, пломбир в шампанском…» И так страница за страницей, ведь это только начало обеда, переходящего в ужин, описывать который здесь просто нет места. Читая это, поневоле поверишь в «экономность» Молоховец и в обычность ее домашнего хозяйства.

Домохозяйка Молоховец (вернее, кухарка под присмотром хозяйки) готовит, на современный вкус, не только много и без перерыва, но и чрезвычайно питательно, чтобы не сказать худшего: например, чтобы приготовить «бабу», род сладкой булки, нужно взять 90 желтков и взбивать их, не останавливаясь, два часа подряд. Яйца, сливки, масло, сметана щедро льются не только в тесто или соусы, но и в супы: в куриный суп

на шестерых – стакан сливок, в мясной бульон – стакан сметаны. Пену и жир с супа Молоховец снимает, но «для тех, кто любит пожирней», предлагается прокипятить снятый жир и снова влить его в суп. Соли, «на господский стол», идет по 2 фунта в неделю. Вчитываясь в общие наставления Молоховец, чувствуешь себя жалким, слабым карликом: так, для нее «небольшой обед или вечер» предполагает присутствие 15-18 человек, для которых можно приготовить, не считая прочего, 90 стаканов клюквенного питья. Нет, кажется, такого предмета на суше, в воздухе или под водой, который не очутился бы в сковородках, кастрюлях, банках, бочках, мешках и горшках, все идет в дело, и помимо блюд сложных, но узнаваемых, встречаешь такую экзотику, как мусс из васильков, мороженое из смородинных почек, сливочный крем с цветами резеды или варенец с серебряной закваской.

Для большей экономии предлагается огромное количество запасов изготовлять дома: рыть рвы для сбережения репы, сушить щук, сеять крапиву, чтобы приготовить из нее нитки для чулок, и многое, бесконечно многое другое, не говоря уже об общеизвестных вареньях и соленьях. Надо делать крупу из роз, кофе из свеклы, уксус из апрельского березового сока, крахмал из каштанов, горчицу из груш, пиво из сосновых побегов, варенье из огурцов и сироп из фиалок.

Немыслимо, непредставимо вести подобное хозяйство в одиночку или с помощью одной кухарки; да об этом нет и речи. Всю работу выполняют служители, прислуга, сколько их – неизвестно, этого расчета Молоховец не дает. Во всяком случае, продукты, предназначенные для служителей, выдаются из расчета на четыре человека. Слуги не голодают, однако при чтении меню для них в душе начинают шевелиться злобные классовые чувства. Так, скажем, завтрак для этих круглосуточных тружеников зачастую состоит из одного молока или простокваши, обед – из супа и каши, на ужин предлагается доесть объедки от обеда. Забавно, рассматривая схему разделки быка, проследить, какие его части – 3-й, 4-й сорт – идут на суп прислуге. Вот суп для праздничного обеда: воловий рубец сварить, прибавить картофель и муку второго сорта. Все. Ни зелени, ни пряностей, никакой радости. О фруктах ни слова: грубые люди должны есть грубые вещи. Вот постные завтраки: копченая селедка. Или же: тертая редька с постным маслом на черном хлебе и чай. Интересно ли после такого завтрака идти заготовлять запасы из барбариса: «… каждую хорошенькую веточку барбариса, держа за веточку, обмакивать в сироп, тотчас обвалять ее в очень мелко истолченном и просеянном сахаре лучшего сорта…» и т. д.

Хочется собраться в кружок и петь революционные песни, или примкнуть к террористам, или воровать.

Но воровать Молоховец не допустит: ее хозяйка сидит в буфетной комнате или в «теплой девичьей» за столом и, «по слабости здоровья» не входя в кладовую в холодное время, зорко следит, чтобы мимо нее не пронесли лишнего, а только то и столько, сколько она предназначила к столу, – трюфели, сливки и ананасы хозяевам, воловьи губы, ноги и сердце – для прислуги. Дама она нежная, и, например, «так как разбор кабана вещь довольно неприятная и не каждая хозяйка решится присутствовать при нем», об этом процессе ей дается лишь общее представление, хотя и с ужасными для дамы подробностями: как отрезать голову… коптить нижнюю челюсть… как отрезать ноги до колена… Она немножко работает и сама: «хозяйка может иногда доставить себе удовольствие самой снять сливки или сметану, велеть при себе сбить масло и т. д.». Вообще же она, безусловно, заботится о челяди: советует в глухом и узком коридорчике без окон, напротив вешалки с шубами, продолбить нишу в стене; там, на откидной доске вместо кровати, будет спать лакей. А «когда строятся дома, необходимо навешивать ворота, не менее двух аршин отступя от наружной стены, чтобы в этом углублении мог ночью сидеть дворник и укрываться от дождя и ветра». Можно лишь догадываться, какие мысли посещают по ночам спящего лакея и бессонного дворника, но, наверное, нехорошие, против чего тоже придумано средство. Во-первых: «Я нахожу, что прислуга отчасти исправится, в нравственном отношении, что в кухне будет более чистоты и порядка, если она будет в одном этаже с прочими жилыми комнатами», а во-вторых, надо иметь специальную общую комнату для молитвы, где «глава семейства, ежедневно, усердною и единодушною молитвою и добрым примером своим, старался бы внушать и вкоренять, как в семействе, так и в прислуге своей, беспредельную любовь к Богу и веру в нелицеприятное правосудие и милосердие Его к роду человеческому».

Не помогло. «В мире есть царь, этот царь беспощаден; голод названье ему», – писал поэт Некрасов в то самое время, когда, издание за изданием, выходили из печати книги Молоховец. Голод, несправедливость, зависть, унижения сделали свое дело. Подстрекаемый большевиками, вылез из своей ниши лакей, вышел из-за ворот дворник; руками, привыкшими к разделке кабана, расправились с хозяевами и с их хозяйством, поджигали дома с их «пятью планами удобных квартир», уничтожали оранжереи, вырубали фруктовые сады, с особым удовольствием громили винные погреба, и рекой текли в рот и на землю Muscat

de Lunel, Chateau d'Yquem, сладкие водки-ратафии.

Старой жизни, старой кулинарии пришел конец. Образ жизни, привычный для Молоховец, никогда больше не возродился. Так, как ела она, не едят сейчас даже немногие богачи.

Джойс Тоомре, переведшая и издавшая этот безумный исторический памятник, проделала огромную работу, вполне сопоставимую с каторжными трудами автора оригинала. Ее обширное предисловие, подробные и увлекательные примечания великолепны. Она отлично знает историю кулинарии и просто историю и умеет ярким примером дать наглядное представление о культурном контексте, а не просто о рецепте блюда. (Так, например, поневоле оценишь роскошный обед для 25 человек, предлагаемый Молоховец, если узнаешь, что обучение на женских курсах, четыре раза в неделю, в течение года, обходилось дешевле одного такого обеда.) Однако Джойс Тоомре, по ее собственным словам, в своей работе выделила лишь один аспект книги, преследуя основную цель: дать удобное, практическое руководство тем, кто захотел бы сам готовить русские блюда. Другими словами, она решила вернуть книге Молоховец ее первоначальный смысл. А для этого, к сожалению, ей пришлось пожертвовать многим: она выбрала для перевода лишь четверть рецептов, выбросив целые отделы, целые группы блюд, сознательно жертвуя историзмом в прагматических целях. Ее решение разрушить «Подарок молодым хозяйкам» как исторический памятник и воссоздать его в другом, более удобном формате, наверное, оправдано многими причинами: практическая книга скорее привлечет и издателя, и читателя. И, сократив нудное многословие Молоховец (которую я неизбежно и, вероятно, неверно представляю себе толстой, туповатой, лишенной чувства юмора, бездуховной обжорой), Дж. Тоомре не дала пропасть полезным tips and techniques, но включила их в увлекательное исследование, предваряющее перевод. Читать книгу в переводе интересно и полезно, готовить по ней удобно, даже просто листать и рассматривать иллюстрации – приятно и познавательно. И все же живой оригинал рухнул, погиб безвозвратно. Масштаб произведенного ею разрушения Тоомре сама прекрасно знает, более того, специально указывает нам на него, и – я не хочу быть неправильно понятой – ее работа, честная и высококвалифицированная, заслуживает бесконечного уважения. Она убивала, любя.

Но что же делать мне, как не рыдать, глядя на это пепелище? Как утешиться, видя, как на месте роскошного и бессмысленного,

блестящего и бесполезного сооружения возникает чистенький и удобный стандартный домик? Где наши щи, капустный суп, на котором держится вся русская кухня? Из семи рецептов – один, а остальные даны списком, как мемориальная доска («Здесь жили и умерли такие-то…»). Почему отвергнута мясная окрошка, классический холодный суп из кваса, который едят и в Кремле, и в забытой, заросшей травой деревне? А клюквенный кисель, переживший и царей, и Ленина, и Горбачева? Почему из 47 видов пирожков оставлены 11, из 12 муссов – 2, из 14 киселей – 5, из 15 компотов – 3? Я хочу видеть рецепты всех 50 «баб», 80 тортов, 112 пудингов! Я хочу знать все 342 способа готовить рыбные блюда (их больше, но я сбилась со счета!) Почему так мало места уделено гречневой каше, которую русские суют всюду: в суп, в блины, в пирожки, соединяют с жареными грибами, фаршируют ею поросенка? Почему выбраны для перевода «французский суп жюльен», «итальянский суп с macaroni», «жареный картофель a la lyonnaise», «рис a la Milanese», немецкое блюдо Baumkuchen, финский напиток «Лимпопо», совершенно нехарактерные для русского стола, вместо «гурьевских блинов», «смоленских резников» и других блюд с неприметными названиями, но таких типичных? Мало ли какой экзотический рецепт попадется под руку обжоре, и она освоит его и включит в свои записи! Основу русского стола составляют рыба, грибы, студни, пироги, блины, каши, капустные щи, хлебный квас, то есть огородные и полевые злаки и речная живность, то, что ты поймал и сорвал. Я думаю, что при переводе и при вынужденном сокращении кулинарной книги принцип равномерной выборочности рецептов, принятый Дж. Тоомре, сдвигает всю шкалу и искажает лицо культуры до неузнаваемости. (Это болезненно заметно благодаря тому полному, оригинальному списку рецептов, которые переводчик честно воспроизводит в одном из приложений.) Я не могу не чувствовать, что справедливее по отношению к рухнувшему колоссу – дореволюционной России – было бы переводить изобилие – изобилием, обжорство – обжорством, несправедливость – несправедливостью, эзотеричность – эзотеричностью.

Это важно не только само по себе, в качестве помощи любителю аутентичной заморской кухни, но и для того, чтобы не исказить культурно-исторической картины, чтобы экзотика одной культуры не превращалась в экзотику совсем другой, в противном случае стоит ли вообще стараться, изучать язык, углубляться в историю? Застолье по природе своей сближает, и, как известно, путь к сердцу лежит через желудок, но сбившись с этого пути, можно очутиться совсем в другом, незнакомом

месте. Так, русский эмигрант быстро и с болью осознает, насколько искажено представление о его стране за границей, какая бездна непонимания разделяет его и, скажем, американца. Когда в меню одного из нью-йоркских кафе читаешь указания, каков, якобы, аутентичный русский способ есть борщ – суп отдельно, а сметану, ложками, отдельно, – то хочется посыпать себе голову пеплом и уйти, воя, в ночь. Американская манера пить водку – либо теплой, либо разбавленной – on the rocks, – и при этом не закусывая, так же губительна и для человека, и для продукта, как, скажем, привычка пить вчерашнее шампанское из чайной чашки. Смысл водки в том, чтобы быстро, одним ударом проглотить содержимое маленькой рюмки (наливают из бутылки, постоянно содержащейся в морозильнике), как если бы это был глоток огня, и немедленно, в ту же секунду закусить очень горячим или очень острым все равно чем: грибом, соленым огурцом, маринованным перцем, соленой рыбой, раскаленным борщом, горячей сосиской в томате – неважно. Виртуозы из народа не закусывают, а занюхивают – черным хлебом (только черным!) или рукавом старого пиджака, но этот способ трудно рекомендовать стране с хорошо развитой системой химчистки, эффекта не будет. Хорошо при этом широко открыть рот и выдохнуть, при этом на глаза должны навернуться слезы; кто-нибудь из участников застолья непременно скажет, крутя головой: «Хорошо пошла! По второй!» Первая рюмка должна ударить по нервам, на этот счет существует старинная поговорка: «Первая – колом, вторая – соколом, остальные – мелкими пташечками».

Собственно, настоящий русский человек думает о водке все время. Весной, высаживая рассаду огурчиков, потирает руки: закусочка вырастет! Летом, заготавливая маринованные помидоры, фаршированный перец в банках и баклажанную икру, мечтает о долгой зиме, когда за окном – снег, а на столе – бутылка «Столичной». Осенью все, включая малых детей и старух, бросаются в лес собирать грибы. Правильно замаринованный гриб – гордость хозяина, лучшая закуска.

«Каждая кухарка должна уметь управлять государством», – писал Ленин. Родился он в 1870 году. Интересно, какое по счету издание Молоховец было у его матери?

Анастасия, или Жизнь после смерти

Кто бы ни была эта женщина, ее жизнь начинает достоверный отсчет с минуты, которая должна была стать для нее последней: 17 февраля 1920 года в Берлине она бросилась с моста в Ландверский канал. Ее вытащили, передали полиции, расспрашивали, допрашивали, на нее кричали – она упорно молчала и была отправлена в госпиталь для умалишенных, где и провела два года, зарегистрированная как «фройляйн Неизвестная». Молодая женщина находилась в глубокой депрессии: целыми днями она лежала без движения, повернувшись лицом к стене, не ела и не спала, а если засыпала, то ее мучили кошмары. Боялась белых халатов, «прессы», большевиков, пряталась под одеяло, сопротивлялась осмотру. Тело ее было покрыто множественными шрамами. На голове была вмятина. За ухом был шрам длиной 3,5 см, достаточно глубокий, чтобы в него мог войти палец. На ноге – звездообразный шрам (могущий соответствовать удару русского, треугольного штыка), пронзивший ступню насквозь. В верхней челюсти – трещины, локоть размозжен. Она мучалась зубной болью, так что ей удалили семь или восемь передних зубов. Очевидно было, что кто-то ее убивал, да не убил, но после такой войны каких только калек не встретишь. Женщина сторонилась других больных, но по ночам иногда разговаривала с сестрами: сестры в госпитале были добрыми и ласковыми. Говорила о своей любви к цветам и животным. По свидетельству одной сестры, она была склонна строить воздушные замки: воображала, что когда «времена переменятся», она купит поместье и будет кататься на лошадях, – но мало ли какие фантазии можно услышать в сумасшедшем доме. Другая сестра, Тея Малиновски, до того долго жившая в России, пришла к убеждению, что фройляйн Неизвестная принадлежит к русской аристократии: по-русски она говорила прекрасно, хотя и неохотно, и была отлично осведомлена в русских делах, особенно военных. Однажды ночью девушка будто бы вдруг рассказала ей, что она – не кто иная, как Ее Высочество Анастасия Николаевна, дочь Николая II, и поведала подробности о ночи расстрела в Екатеринбурге, о зашитых в корсеты брильянтах, о том, как фрейлина бегала по подвалу, закрываясь от убийц подушкой и визжа, о том, как предводитель убийц расстрелял ее отца в упор, насмехаясь… Но Малиновски опубликовала свои записки много позже, в 1927 году, когда история «Анастасии» стала широко известной, и ее воспоминания ровным счетом ничего не доказывают. Такова

уж была судьба «Анастасии»: ей было суждено прожить долгую жизнь, предоставить множество диковинных свидетельств о своем прошлом, поражать людей знанием мельчайших деталей жизни царской семьи, приобрести толпы сторонников и несметное число врагов, стать предметом двух многолетних судебных разбирательств и все же сойти в могилу в 1984 году такой же «фройляйн Неизвестной», какой ее вытащили из зимнего берлинского канала.

Так бы она и лежала в сумасшедшем доме, отвернувшись к стене, но некая Клара Пойтерт, тоже пациентка госпиталя, однажды листала иллюстрированные журналы, рассказывавшие о гибели царской семьи. Внезапно Клару осенило: «Вы – царская дочь, Татьяна!» Девушка зарыдала и закрыла лицо одеялом. Ага! – обрадовалась Клара. Так началась история «Анастасии».

История спасения

Выйдя из госпиталя, Клара побежала к монархистам – штаб Высшего Монархического Совета располагался в Берлине. Началась серия «опознаний», то пугавших, то возмущавших Неизвестную («Да какая же это Татьяна!» – «Но я никогда не говорила, что я Татьяна!») Иной раз ее просто грубо вырывали из постели для осмотра, после чего она впадала в еще более глубокую депрессию, дрожа и рыдая. Наконец из нее буквально вырвали признание, что она – Анастасия. И девушку, несмотря на ее упорное сопротивление, уговорил переехать к нему в дом некто барон фон Клейст, явно рассчитывавший на монаршие милости, которые воспоследуют после того, как проклятый большевистский режим будет наконец свергнут – в 1922 году эти надежды были еще живы.

Барон вскоре пожалел о своем гостеприимстве: худшего характера, чем у «фройляйн Анни», как ее конспиративно называли фон Клейсты, нельзя было себе вообразить. Капризная, подозрительная, тираническая, надменная, с внезапными переходами от вежливости к хамству, с быстрой сменой настроений, упрямая, считающая само собой разумеющимся, что все обязаны ее обслуживать, а она никому ничем не обязана – так описывают ее все, с кем свела ее жизнь. Главной же ее чертой, обострившейся с возрастом, стала черная неблагодарность по отношению к тем, кто становился ее верным приверженцем, а таких было много: не один человек потерял здоровье, репутацию или же разорился до нитки, борясь за признание ее царевной. Она жила в состоянии постоянной паники и одновременно раздражения. Она боялась быть опознанной как Анастасия, боялась, что ее арестуют и выкрадут большевики, отказывалась говорить по-русски. И одновременно задыхалась от возмущения и гнева, когда ее «Анастасией» не считали. При попытках расспросов она впадала либо в истерику, либо в мрачную депрессию. Обеспокоенные ее слабым здоровьем, фон Клейсты боялись оставить ее одну, пытались развлекать: возили на прогулки, в музеи. Ночью дочери барона по очереди дежурили, спали в ее комнате. Иногда, под настроение, она становилась удивительно легкой и откровенной и рассказывала много вещей, которых никто, казалось, кроме настоящей царской дочери, знать не мог. Иногда она выходила к гостям – поток любопытных не иссякал – и молча сидела в углу, вежливо улыбаясь. То она была мила с гостями, тараторила о пустяках (все те же цветы и животные), то становилась злой

и подозрительной. Здоровье ее стало резко ухудшаться, позвали врача. Он определил острую анемию, отметил, что прикосновение к голове вызывает сильную боль. Потом началось кровохарканье. Однажды она потеряла сознание, ей кололи морфин. Под воздействием морфина, в бреду, она бормотала по-русски, звала кого-то: «Вероника!..» – и из обрывков бреда, бормотания и вскриков постепенно стал вырисовываться некий странный, обрывочный, полный несоответствий рассказ, в который и поверить трудно, и отвергнуть нет причин.

Получалось так: в июле 1918 года семью Романовых внезапно подняли с постелей и потащили в подвал Ипатьевского дома. Затем – выстрелы, «все стало синим, я увидела пляшущие звезды и услышала страшный рев». Сестра Татьяна упала на нее, прикрыв своим телом от пуль. Потом – провал. Потом она осознала, что ее везут куда-то на телеге. Ее будто бы спас солдат, по имени – странно сказать – Александр Чайковский (что за фамилия? из польских ссыльных? или он наврал ей?). Он посчитал грехом хоронить живого человека. У Чайковского был брат Сергей, сестра Вероника, мать Мария. На телеге они везли ее через леса на юг. Лечили раны простой водой. Добрались до Бухареста. Продавали бриллианты, выбранные из ее корсета (те, что зашила императрица), и на эти деньги жили. В Бухаресте Анастасия родила ребенка от Чайковского и назвала его, в честь отца, Александром. Потом ее вроде бы обвенчали с Чайковским по католическому обряду, но она не вполне была в этом уверена: потащили в храм, что-то говорили… Жили у родственников мужа. Но вскоре Чайковского убили на улице. Тогда Анастасия, в сопровождении деверя «Сергея», отправилась в Берлин на розыск своей собственной родни. Шли пешком до германской границы, скрывались, чего-то боялись, отсиживались. Ночевали в маленьких гостиницах. Мела метель. В Германии сели на поезд. Остановились в отеле. Вдруг «Сергей» куда-то пропал. Неделю она бродила по Берлину со спутанным сознанием, боясь и не понимая – «все для меня было таким новым», – а потом бросилась в Ландверский канал. А может быть, ее толкнули?

Невероятная история! Трудно поверить. Разве вся царская семья не была расстреляна, вывезена в лес, пересчитана, сожжена и захоронена? Разве следователь Соколов не провел тщательное расследование и не опубликовал несомненные данные о трагедии в Ипатьевском доме? Не провел. Не опубликовал. Вплоть до 1976 года архив Соколова не был доступен историкам, а опубликованный отчет мало сказать что грешит неточностями, он попросту лжив. Миссия Соколова – и это было известно с самого начала – была чисто политической, и направлен он был

в Екатеринбург командованием Белой армии с определенным заданием: представить трагедию в том виде, как мы ее знаем – «расстреляны все до единого». Еще в Омске, до поездки в Екатеринбург, Соколов, по словам свидетелей, говорил о том, что «у него нет ни малейшего сомнения» в том, что все погибли самым ужасным образом. Однако серьезные историки указывают, что нет ни одного достоверного свидетельства о подробностях екатеринбургской трагедии. Напротив, есть множество данных о том, что одна из царских дочерей, и скорее всего Анастасия, исчезла или сбежала. Немалое число людей видело листовки, расклеенные в Екатеринбурге, Перми, Москве, Орле, Челябинске и в советских миссиях за рубежом, объявляющие о бегстве. Была организована массовая облава на беглянку. Обшаривали дома, чердаки и подвалы, окрестные леса. Осенью 1918-го к сербской княгине Елене Петровне, сидевшей в Пермской тюрьме, большевики привели некую девушку, называвшую себя Анастасией Романовой, на опознание: не та ли Анастасия? Нет, не та. Шведский граф Бонде, глава миссии Красного Креста, в том же году инспектировавший лагеря военнопленных в Сибири, свидетельствует, что его поезд был остановлен и обыскан все с той же целью. В 1927 году, когда об Анастасии говорила вся Европа, представитель наркоминдела в Ленинграде, Вайнштейн, сказал немецкому консулу Боку, что одна из Романовых действительно избежала казни. «Анастасия?» – спросил Бок. «Одна из женщин», – уклонился Вайнштейн.

Соколовский миф о том, что «все до единого были расстреляны», оказался на удивление стойким: нам кажется невероятным сама возможность спасения, и даже теперь, когда царские останки найдены и очевидно, что двоих тел не хватает, мы удивляемся: куда же они делись?.. Меж тем, женщина, утверждающая, что она – Анастасия, – вот она: мечется в бреду, жалобно плачет и зовет какую-то «Веруничку». Идет 1922 год. Историю ее спасения и злоключений будут из нее вытягивать по крохам в течение семи лет.

Будет он помнить про царскую дочь

У нее была удивительная способность умирать и воскресать. 3 августа она бредила и металась, за ее жизнь боялись. 12 августа она сбежала из дому, и ее нашли только через два дня. Она отказалась возвращаться к фон Клейстам: ужасные, грубые люди, только и делали, что мучали ее, заставляли рассказывать о ее прошлом, каждый день приводили незнакомых людей и требовали опознать их. Даже ночью не было покоя: спали прямо в ее комнате. Барон был взбешен и оскорблен неблагодарностью калеки. Он был лишь первым в длинной цепи людей, которым пришлось пережить то же самое. Начались долгие странствия от одного доброжелателя к другому, причем всюду повторялась одна и та же история: Анастасия заявляла, что к ней относятся безобразно и используют ее в корыстных целях. Отчасти это было справедливо: русские монархисты терпели ее как дочь самодержца Российского, но горько жаловались на дурной характер и на то, что она сама разрушает все шансы на то, чтобы быть опознанной. Почему она, например, упорно не хочет говорить по-русски? Почему не хочет связно и увлекательно рассказать, как ее убивали? Где логика? Тут несчастная впадала в истерику – она хотела забыть об ужасах прошлого, хотела к бабушке, хотела мирно жить в семье, собирать грибы и цветы, кататься на лошади, а рассказывать любопытным о том, как ее насиловали и добивали штыком, не хотела. И «этот страшный язык», – русский, язык насильников и убийц, – она решила забыть раз и навсегда. «Ничего нет ужаснее русского солдата, – сказала она однажды с горечью, – и если бы вы пережили то, что пережила я…» Но логики нечего было ждать и от русских монархистов, чье отношение к Анастасии было сильно окрашено идеологией. «Дочь русского царя не может родить ребенка от простого солдата», – заявили ей. И – вскоре: «Даже если это она, – ТАКАЯ Великая Княжна нам не нужна». «Такая» – с выбитыми зубами, с черепом, проломленным в двух местах, с туберкулезными свищами на груди и на локте, упрямая, неблагодарная, она в конце концов перестала их интересовать, и ее просто выгнали. После долгих скитаний по чужим людям ее подобрала фрау фон Ратлеф, скульпторша из Риги, сыгравшая огромную роль в ее жизни.

Кто бы она ни была, она не притворялась. У нее были странные провалы в памяти: осматривавшие ее врачи затруднялись припомнить аналогичные случаи. Что-то она помнила прекрасно, в деталях, что-то – самые простые вещи –

вызывало мучительное затруднение. Предполагали, что это результат сотрясения мозга или «вытеснение» как реакция на психическую травму. На каком языке она разговаривала? В Германии – по-немецки, в Америке – по-английски. Оперировавший ее больную руку профессор Руднев писал, что до операции он говорил с ней по-русски, причем она упорно отвечала ему по-немецки, под наркозом же она бредила по-английски. По-русски говорила редко, но чисто и правильно. Люди ставили жестокие эксперименты: посреди разговора вдруг нарочно матерились в ее присутствии, вгоняя ее в краску и заставляя обратиться в испуганное бегство («Ага! Знает!»). Однажды подслушали через дверь, как она разговаривала по-русски с попугаями. На всех языках, кроме русского, она говорила бегло, но плохо, и речь ее была несложна. Одна из ран на ее голове, кстати, прилегала к той области мозга, которая заведует способностью различать слова, и этим может объясняться то, что она путала простые вещи, утомлялась от длинных разговоров. Сама же больная жаловалась, что сны ей снятся по-русски и по-английски, но к утру она забывает слова или же хочет произнести одно слово, а язык говорит другое. «Знали бы вы, какая это мука, – плакала она. – За эти годы, что я провела в сумасшедшем доме, все пропало, все разрушилось!» Врачи, оперировавшие, лечившие ее, наблюдавшие ее в течение 10 месяцев, на этот раз имели дело не просто с фройляйн Неизвестной, а с очень известной, хотя и не установленной личностью, и относились к «загадке» внимательно. Ими были отметены уже звучавшие в это время обвинения, что это – «самозванка, польская фабричная работница» или «румынская актриса», подосланная большевиками, чтобы разложить монархическое движение в эмиграции, или, наоборот – некая ловкая дама, которую всему научили монархисты для каких-то там своих нужд. Категорическое заключение врачей: это не случай притворства, это не результат самовнушения, это не результат постороннего внушения, то есть не гипноз. И несмотря на перенесенные травмы, у калеки нет следов душевного заболевания, разве что слегка психопатическая конституция личности: возбудимость, депрессивность и тому подобное. Другими словами, она должна быть той, за кого себя выдает. Самый недоверчивый из врачей допускал: если это не сама Анастасия, то женщина ее возраста и воспитания, проведшая жизнь в тесном контакте с царской семьей и причастная интимным подробностям их семейной жизни. Интересно, кто бы это мог быть?.. История такой не знает.

«Самозванка» вела себя странно: ничего не предпринимала для своего опознания, дичилась людей и только ждала, когда же

«бабушка» возьмет ее к себе. В поведении была ребячлива и наивна, не знала цены деньгам, не понимала многого в человеческих взаимоотношениях; часто хотела умереть или уехать далеко-далеко и уйти в монастырь, всерьез звала с собой фрау фон Ратлеф; любила разбирать и рассматривать, тихо плача, фотографии царской семьи, изредка комментируя. Про Великую Княжну Татьяну говорила: «Я перед ней виновата. Это из-за меня она умерла», – не вполне было понятно, что она имеет в виду, а при расспросах она, как обычно, замыкалась в себе. Про себя говорила: «Я такая старая внутри. Через какую грязь я прошла!»

Дворцовый заговор

Фрау фон Ратлеф написала письмо Великому Герцогу Эрнсту-Людвигу Гессен-Дармштадтскому, брату Александры Федоровны. Изложила историю калеки, перечислила заметные шрамы, чтобы он мог опознать племянницу, вложила рентгеновские снимки поврежденного черепа и стала ждать ответа. Ответ был таков: «Невозможно полагать, чтобы одна из царских дочерей осталась в живых». Фрау фон Ратлеф удивилась. Она решила попробовать еще раз, но прежде спросила Анастасию, помнит ли та «дядю Эрни», ведь она, должно быть, уже давно его не видела. «Да как же давно? – сказала Анастасия. – Он еще в 1916 году, во время войны, приезжал к нам домой». Фон Ратлеф не поверила своим ушам. Как мог герцог приезжать в Россию в разгар войны с его страной? «Вы что-то путаете». – «Ничего я не путаю! Он приезжал тайно, чтобы предложить папе либо быстро заключить мир, либо срочно уехать из России. Да вы сами его спросите, он подтвердит!» Фон Ратлеф поняла, что в ее руках – шанс доказать, что больная – действительно Анастасия. Кто еще мог знать о тайной поездке? Ее подруга, Эми Смит, поехала на прием к «дяде Эрни» со всеми записями и письмами. Дяди не было, и ее принял высокопоставленный придворный, граф Гарденберг. Вначале он отнесся к ней любезно, забрал документы, обещал помочь. Но на следующий день ошеломленную Эми встретил разъяренный грубиян. Как смеет эта беспардонная калека-самозванка порочить герцога? Как смеет возводить на него клевету? Знает ли она о законах против шантажа?! Пусть только посмеет упомянуть эту наглую ложь в газетах!!! У Эми было ощущение, что они невольно коснулись запретной темы, что вся история грозит катастрофой… Разразился скандал.

…Лишь через 25 лет было получено подтверждение того, что эта секретная поездка действительно имела место. «Калека-самозванка» каким-то образом знала о тайнах, к которым были причастны лишь избранные. И к тому времени, как Эми Смит вернулась в Берлин, мощная кампания против Анастасии начала раскручиваться, и раскручивается фактически до сего дня. Разоблачения наивной и капризной больной угрожали репутации не только герцога Гессенского: лютым врагом ее стала баронесса Буксгевден, фрейлина, по словам Анастасии, помешавшая планам спасения царской семьи от большевиков в обмен на собственную жизнь. Были и другие влиятельные люди, чьему благосостоянию угрожала девушка, сама того не подозревая.

Вдовствующая императрица Мария Федоровна (Дагмара), вдова Александра III, избежавшая гибели, поселилась со всем двором в Дании, у своего брата Вальдемара Датского. Она категорически отказывалась признать гибель своего сына и его семьи, – и характер у нее был трудный, и, возможно, какую-то роль играли политические соображения: если император жив, то никто не смеет претендовать на его трон: «бабушка» избегала внутримонархических разборок. Появление самозванной «Анастасии» означало признание гибели семьи. Может быть, поэтому Дагмара не спешила откликнуться на настойчивые просьбы разобраться, поступавшие со всех сторон, в том числе и от ее порфироносной родни. Тем не менее в Берлин были посланы ее верный слуга Волков, хорошо помнивший царевну, поехала дочь Ольга; датскому посланнику в Германии, г-ну Цале, тоже было поручено разобраться.

Старый Волков и Анастасия уставились друг на друга молча, она – словно силясь что-то вспомнить, он – разочарованно. Встреча была короткой. «Нет, – сказал Волков, выйдя за дверь. – Наша была круглее и розовей. Издалека, правда, похожа». Анастасия тем временем мучительно и напряженно думала. Потом со вздохом опустила голову на подушки: нет, не могу. «Этот господин приехал из Дании», – подсказал Цале. Девушка покачала головой: «Этого не может быть, он служил у нас при дворе». На другой день Волков пришел снова. Он задавал вопросы. Как звали матроса, прислуживавшего царевичу Алексею? – «Нагорный». Волков был поражен: верно. Кто такой Татищев? – «Папин адъютант в Сибири». Потом, подумав, калека сказала: «У моего брата был еще один матрос. Его звали… трудное имя… Деревенко». Да, сказал Волков. «И у него еще были сыновья, и они играли с моим братом». Верно. «И еще был один человек с такой же фамилией… Врач… Он заменял доктора Боткина». Тоже правильно. Потом Анастасия заявила: «Ну хватит. Теперь я буду спрашивать. Пусть-ка скажет, помнит ли он ту комнату в Петергофе, где Мама каждый раз, что мы приезжали, выцарапывала свои инициалы на подоконнике?» Волков заплакал и стал целовать ее руки… «Ну так что, вы опознаете ее?» – спросила после взволнованная фон Ратлеф. «Да вы войдите в мое положение! – отвечал расстроенный слуга. – Если я скажу, что это она, а другие скажут, что не она, – что ж со мной-то будет?» После визита старика Анастасии стало хуже, туберкулезная рука раздулась в бесформенную массу, решили оперировать. Опять морфин, опять бред – шесть недель бреда. Она металась, звала родню, ей казалась, что она сидит на крыше вместе с братом и держит его за ремень, чтобы он не свалился.

Она не узнавала фрау фон Ратлеф и кричала ей: иди в сад, иди в сад, посмотри, цела ли ваза Екатерины, не разбили ли ее солдаты! Она кричала: Шура, Лиза, помогите мне одеться, я должна бежать, не то меня застрелят! Лизой, как выяснила фон Ратлеф, звали служанку Великих Княжон, а Шуру Теглеву, няню Анастасии, к тому времени вышедшую замуж за бывшего учителя царевен, Жильяра, разыскали в Швейцарии. Великая Княгиня Ольга, сестра Николая, вызвала супругов к умирающей. Шура попросила показать ей ступни больной. «Ну точно как у Великой Княжны, – воскликнула она, – у нее тоже правая нога была хуже левой!» У Анастасии было врожденное уродство больших пальцев ноги, называемое hallux valgus, неопасное, но сильно выраженное, при котором большой палец изгибается посередине почти под прямым углом и повернут в сторону малых пальцев ступни. По лицу узнать девушку не мог бы никто: в ней не осталось ни грамма жира, весила она меньше 33 кг, кожа стала серовато-белой, губы распухли, и кости торчали из-под кожи как дверные ручки. В бреду ей представлялось, что тетка Ольга стоит за дверью и громко насмехается над ней, попрекая ее тем, как низко она пала. Пришлось раскрыть дверь и показать ей, что там никого нет.

Больную руку прооперировали: удалили локоть, вставили серебряный костыль, – остаток кости торчал наружу всю остальную жизнь. Руку парализовало, и она с тех пор всегда была согнута под углом в 80 градусов. Приехала тетя Ольга. Больная узнала ее, обрадовалась: как бабушка? здорова ли? «Говорили о пустяках, – записывала фон Ратлеф. – Восхищались киской Кики, поговорили о болезни». Ольга ушла, и назавтра вернулась с Шурой. «Как ты думаешь, кто это?» – «Это Шура!!!» – обрадовалась больная. Вдруг она схватила флакон с одеколоном и плеснула Шуре в руку: «намочи-ка лоб!» Шура заплакала и засмеялась. Позже она пояснила: «Анастасия Николаевна обожала духи. Она меня всегда поливала духами, чтобы я ходила и благоухала, как корзина цветов». Ольга же шептала фон Ратлеф: «Я так рада, что приехала! Это она! Как она Шуру-то узнала!.. Мама ни за что не хотела, чтобы я сюда приезжала. Когда она узнала, что я еду, она так рассердилась. И сестра Ксения прислала мне телеграмму из Англии, чтобы я ни под каким видом не ездила». Учитель Жильяр тоже признал в больной Великую Княжну. После отъезда Ольга прислала «маленькой» розовую шаль и пять нежных писем. Скоро, скоро она поедет к бабушке и будет там жить. Шел 1925 год. В январе 1926-го в датской газете появилось официальное извещение: «Мы категорически заявляем, что между Великой Княжной

Анастасией, дочерью Николая II, и женщиной из Берлина, известной под именем Чайковской, нет ни малейшего сходства… ни одной общей черты… слухи необоснованны… ни Великая Княжна Ольга, ни кто-либо из знавших Вел. Княжну не смогли найти ни одной общей приметы… производит впечатление безумного инвалида… надеемся, что врачи избавят ее от этой идеи-фикс…»

Деньги

Что именно случилось за кулисами, какие механизмы были приведены в действие и кем – до сих пор неизвестно. Похоже, что Анастасия фактом своего существования встала поперек дороги слишком многим. Герцог Гессен-Дармштадтский боялся за свое политическое благополучие. Мария Федоровна, как было сказано, предпочитала считать семью сына находящейся в заточении где-то в Перми, жизнь Анастасии означала, что все семейство погибло. Кирилл Владимирович претендовал на трон. (Анастасия была в ярости: «Он, негодяй, первым поспешивший предать Папу! Пока я жива, не бывать этому!») Влиятельная баронесса Буксгевден тоже совершенно не желала лишних слухов о своем предательстве, истинном или мнимом. Учитель Жильяр отрекся одним из первых и начал всеевропейскую кампанию против инвалида, выступая с лекциями и пиша книги, – такого количества яда и гнева простая маленькая самозванка никак не заслуживала, от нее можно было бы отмахнуться как от мухи. Друзья Анастасии видели в этой широкомасштабной кампании лишнее подтверждение тому, что сильные мира сего именно что признают женщину Великой Княжной, но к власти ее не допустят. В довершение ко всему выяснилось, что Анастасия кое-что знает про секретные литерные счета – миллионы, положенные Николаем II на имя своих детей в Английский Банк. И она вроде бы припоминает пароль, имя доверенного лица («такое короткое, звучит на немецкий манер»). И она может претендовать на все эти деньги, как единственная наследница. И этот банк удивительным образом, несмотря на тяготы военного времени, процвел и создал крупнейшее подразделение: Англо-Интернациональный Банк, президентом коего от момента основания банка и до самой своей смерти был некто сэр Питер Барк (короткая, как бы немецкая фамилия), русский англичанин. Он был последним министром финансов Николая, а после революции стал управлять финансовыми делами двух царских сестер, Ольги и Ксении. И еще: король Георг V назначил Барка управляющим делами Марии Федоровны. Та до самой смерти держала драгоценности в коробке под кроватью, а после ее смерти Барк занялся продажей этих драгоценностей, причем Ольге досталось 40 тысяч, Ксении – 60, а к его рукам прилипло 250 тысяч фунтов стерлингов. Ольга, которая в финансовых делах была совершеннейшая овца и, по словам одного из родственников, «рубля от копейки не отличала», говорила: «Были некоторые аспекты этой сделки, которые я так

и не поняла». Можно добавить, что Ксения в 1920 году была назначена управляющей делами покойного Николая и в течение пятнадцати лет тщетно охотилась по всему миру за предполагаемыми сокровищами, спрятанными царем за границей, общая стоимость которых исчислялась приличной суммой в 120 миллионов долларов (на деньги того времени). У Анастасии, понятно, не было никаких шансов на признание.

Посланник Цале, ставший ее верным другом, собрал огромную документацию по ее делу, благоприятную для Анастасии. Датская королевская семья потребовала ее на рассмотрение, и с тех пор и до сегодняшнего дня не возвращает, никому не показывает и отвергает все просьбы историков. «Это семейное дело», – отвечают ученым.

Вся оставшаяся жизнь

Помимо противников, Анастасия приобрела немалое число защитников. Многие переходили из стана ее врагов в стан ее друзей, другие – наоборот. Большинство ее противников никогда с ней не встречались, отметая ее с порога. (По миру бродило одновременно не менее четырнадцати «Анастасий», и поэтому удобно было отмахнуться от всех сразу.)

До войны вновь восставшая из могилы Анастасия жила то у одних, то у других людей и, следуя своей привычке, наказывала их своим несправедливым монаршим гневом и уходила. Она поправилась, порозовела, и черты ее, фигура, манеры приобрели сходство с бабушкиными, не говоря уж о ее характере. Разгневавшись на пустяки, она запиралась в своей комнате, не пила и не ела. Фрау фон Ратлеф она объявила злодейкой, желающей нажиться на ее несчастье. С годами становилась все подозрительнее: ей казалось, что все хотят ее отравить. Несколько лет она провела в Америке у одной из своих родственниц, – не все Романовы были в заговоре против нее, – но поссорилась и с этой доброй душой. Потом она жила у богатых американцев, которые были разочарованы – они ждали эдакую голливудскую диву, а получили на руки маленькую, пугливую и вздорную, мелко семенящую, вечно прикрывающую подбородок бумажной салфеткой девочку-старушку. Поссорилась и с ними. Вернулась в Европу. Пережила войну, советские бомбежки и, оказавшись в советской зоне, бежала по подложным документам, с помощью друзей, в западную зону. После войны она поселилась в бараке за глухим забором в маленькой немецкой деревушке. Она стала местной достопримечательностью, сотни репортеров осаждали ее дом, бросали камушки в окна, стучали в дверь кулаками: «Эй! Великая Княжна! Анастасия! Покажитесь!» Не доверяя людям, Анастасия окружила себя кошками и собаками – число кошек доходило до шестидесяти. Когда собака умирала, она рыла здоровой рукой неглубокую могилку и оставляла труп гнить. Запах был чудовищный, соседи жаловались в полицию. Спала она на диване, а кровать отдала котам.

Еще с середины двадцатых годов образовался тесный кружок ее близких друзей – общество, целью которого было не только поддержать ее, но и добиться ее признания. Два судебных процесса длились в общей сложности несколько десятилетий. Экспертиза по почерку, экспертиза по ушам, экспертиза по строению черепа однозначно указывали на то, что истица,

как это ни прискорбно для одних и радостно для других – действительно та, за кого она себя выдает. Ушная экспертиза, например, показала, что ухо Анастасии-девочки и взрослой Анастасии совпадают в семнадцати критических точках, тогда как для установления личности достаточно двенадцати. Впрочем, Анастасия не выиграла суда, но ей было совсем, совсем все равно. Она уехала в Америку и вышла замуж за человека на двадцать лет младше себя. Кошек и собак у них было – до умопомрачения. Она была счастлива в эти последние годы, и даже местный суд, потребовавший вывезти наконец весь безобразный мусор, которым они с мужем захламили весь участок, – все коробки, газеты, пни, ветки, вонючие объедки, бутылки, банки, гниющие остатки и все такое, жуткое, смердящее, оскорбляющее соседей, – даже этот суд ей был нипочем. То ли она еще видела. Она умерла в 1984 году. На обеих ладонях у нее были двойные линии жизни. Имя «Анастасия» значит «Воскресение».

Небо в алмазах

Очевидцы в один голос описывают изумительную погоду, стоявшую в ту ночь, когда самый большой плавучий предмет из созданных человеческими руками, «Титаник», на полном ходу несся по водам Северной Атлантики – из Саут-гемптона в Нью-Йорк. Было 14 апреля 1912 года, близилась полночь по местному времени. Океан лежал гладкий, как пруд, как лужа черного масла, как зеркало. Прозрачность ночного воздуха была такой, что звёзды, – казалось, их было больше, чем темных участков на небосводе, – заходили за горизонт не сразу, а как будто частями, по четвертям. Было воскресенье. Кто-то уже уютненько спал, кто-то сидел в кресле с книжкой, в Кафе Паризьен шла небольшая вечеринка для своих, в курительной комнате собрались игроки в бридж. Двадцать новобрачных пар упивались радостями медового месяца. В кабине второго класса глупая баба, мать семилетней Эвы Харт, опять принялась за свое: отоспавшись днем, она уселась ждать, когда корабль потонет, и так четвертую ночь подряд, господа. Ей же говорили, объясняли, что этот корабль – непотопляемый, так нет же, она заявила, что это – вызов Богу, что таких слов произносить нельзя, что корабль никогда не доплывет до цели, а потонет, и непременно ночью. Харт, строитель, ехал с семьей в Виннипег начинать новую жизнь в Новом Свете, и дурь жены его раздражала.

В этом году в Арктике установилась необычно теплая погода – тридцать лет такой не было, и от ледника, толстой корой сковавшего северные воды, одна за другой стали откалываться ледяные горы. Холодное течение Лабрадор относило их к югу, где погода была холоднее, чем на севере, – такое вот явление природы – и айсберги не таяли. Из Европы в Америку тем же маршрутом шло много кораблей. Встречая на пути айсберг, капитан судна посылал радиограмму (маркониграмму, как тогда говорили) капитанам других судов. Чудесное изобретение господина Маркони – «беспроволочный телеграф» – было, конечно, установлено и на «Титанике». Но капитан «Титаника» Э. Дж. Смит не очень волновался – ведь его корабль был непотопляемым, не то что другие. Так что новинка техники в основном использовалась для того, чтобы пассажиры могли послать радиограмму друзьям, похвастаться, что плывут на самом большом, самом роскошном, самом удобном и безопасном корабле в мире. Радиограмма стоила недешево, но на «Титанике» было много людей, которые могли себе позволить невинное удовольствие подразнить приятелей и родню:

мы плывем, а вы нет. Жаль, что вас нет с нами. Завидуйте. Посланий скопилось столько, что радист Филипс еле управлялся отстукивать приветственную морзянку. К вечеру радиосигналы особенно хорошо и далеко проходили, поэтому всякие глупые сообщения о встреченных айсбергах его стали раздражать. Еще в 9 утра 14 апреля пришло сообщение – он передал его капитану. В 11:40 – еще одно. В 13:42 – еще. Передал и это. Сколько же можно? И когда через три минуты, в 13:45, пришло очередное сообщение, Филипс и передавать его не стал.

Мать Эвы Харт не зря боялась гнева Господня; как известно, когда Бог хочет погубить человека, он лишает его разума. Так, капитан Смит последнюю из полученных им маркониграмм не объявил команде, а взял с собой, идя на ланч. По дороге он встретил председателя компании «Уайт Стар» Дж. Исмэя и, как бы лишившись разума, отдал ему. Тот, по тому же необъяснимому сценарию, сунул сообщение в карман, где оно и провалялось пять с половиной часов, до ужина.

Капитана Смита на последний ужин в его жизни пригласила чета Уайденеров. Они были богатыми людьми: у Эленор Уайденер, например, было жемчужное ожерелье стоимостью 4 миллиона долларов на теперешние деньги. Ужин был изысканный, а-ля карт. В ресторане было тепло, а снаружи температура быстро падала: корабль на всех парах несся к ледяным полям. В 19:30 пришла еще одна радиограмма. Помощник радиста Брайд отнес ее на капитанский мостик и кому-то сунул, но кому – после не мог вспомнить. Наконец в 21:40 пришло сообщение с корабля «Месаба». Оно содержало точные координаты того айсберга, до которого «Титанику» оставалось ровно два часа ходу. Филипс отбросил маркониграмму в сторону. Разум покинул и его. В 23:00 громкий сигнал с «Калифорнийца» прервал увлеченного работой Филипса: «Калифорниец;» сообщал, что встал во льдах. Разъяренный Филипс отбил в эфир: «Заткнись, заткнись! Ты глушишь мой сигнал!» – и вырубил помеху прежде, чем радиооператор успел сообщить свои координаты. Тот прождал еще четверть часа, но связи не дождался.

Температура упала ниже нуля, море было, как черный шелк, и Лоренс Бизли, самый поэтичный пассажир, с чувством космического восторга и ужаса смотрел, как купол неба, перевернувшись, отражен в зеркальном противокуполе воды: словно бы моря и вовсе не было, словно бы корабль, сияя огнями десяти палуб, несется в алмазной бездне, полной миллиардов огромных немерцающих звезд.

Непревзойденная роскошь

Не только Уайденеры и капитан Смит хорошо покушали перед смертью в ресторане а-ля карт; сервис в обычном ресторане первого класса тоже был прекрасным. 14 апреля подавали обед (то есть ужин) из семи перемен: устрицы, филе миньон, куриное соте, утка, паштет из гусиной печенки, спаржа и многое другое; четыре вида десерта – например, персики в желе из шартреза. Второй класс (девочку Эву, ее нервную маму и спокойного папу) тоже не обидели: прозрачный суп, рыбное блюдо, на второе – на выбор: курица с рисом и карри, или весенний барашек, или жаркое из индюшки с овощами. На десерт можно было взять кокосовый сандвич, а можно – винное желе, а то – американское мороженое, а не хочешь – бери плам-пуддинг. Потом, конечно, орехи, фрукты, сыр, печенье, кофе. У третьего класса выбор блюд был поменьше, зато порции огромные. На «Титанике» были две самые большие в мире плиты, каждая с 19 духовками. Да что там, корабль вез 75 000 фунтов мяса, 11 000 фунтов свежей рыбы, 2 и ¾ тонны помидоров, 50 ящиков грейпфрутов, луку, спаржи, сливок, винограда, лимонов без меры и счета, 1000 вилочек для устриц, 2000 ложечек для яиц всмятку, 1500 – для горчицы, 400 щипчиков для спаржи, 1500 вазочек для суфле. Одних ножниц для разрезания гроздьев винограда было сто штук. Сорок пять тысяч столовых салфеток. Восемьсот пуховых одеял. Пятьдесят тысяч пятьсот полотенец общим счетом. Все кухонное оборудование – миксеры, разрезалки, машинки для очистки картошки (ее взяли 40 тонн), мясорубки и прочее – было электрическое. Электричество еще считалось модной роскошью, им было оснащено все, что можно было оснастить. 10 000 светильников, 48 часов, 1500 звонков, почтовые и пассажирские лифты, 8 палубных кранов, турбины, вентиляция, беспроволочный телеграф; утюги, холодильники, нагреватели для воды, паровые свистки – всё. Был установлен специальный таймер на случай густых туманов, чтобы свистки автоматически подавали сигнал каждые восемь – десять секунд, и для нервных пассажиров (вроде мамы Харт) были предусмотрены крошечные электрические ночнички, уютно горевшие в ночи наподобие свечек. «Титаник» был оснащен как лучший из возможных отелей или даже как маленький плавучий город. У корабля было 10 палуб, длина его была 882 фута 9 дюймов; водоизмещение – 66 000 тонн, мощность – 46 000 лошадиных сил. Впрочем, простому пассажиру, не знакомому с тонкостями кораблестроения, мощность или лошадиные силы ничего

не говорят, а вот 300 штук щипцов для орехов, или 100 полоскательниц, или 5500 тарелок для мороженого представляются зримо, равно как и мебель в стиле трех Людовиков (а также в стиле итальянского Ренессанса, ампир, регентства и так далее), турецкие бани (и при них залы для «остывания» в арабском стиле XVII века) и зал для физических упражнений с аппаратами, имитирующими процесс гребли, езду на велосипеде и скачку на коне. Никто прежде не видывал такой роскоши на корабле, чем и гордилась компания «Уайт Стар». У конкурирующей компании «Кунард» корабли были, может быть, и быстрее, но поплоше, а главное, «Титаник» ведь был непотопляемым. Корпус корабля был двойным, наружная оболочка была сделана из стали дюймовой толщины, внутренняя – чуть тоньше, между ними мог спокойно пройти человек. На корпус пошло три миллиона железных заклепок, из них полмиллиона (весом 270 тонн) – только на днище. Корабль был разделен на 16 водонепроницаемых отсеков, разделенных 15-ю переборками. В переборках были расположены водонепроницаемые двери, приводившиеся в движение все тем же электричеством. В случае, если корабль получит пробоину, капитан одним поворотом выключателя приведет двери в движение, и поврежденный отсек будет изолирован от остальной части судна. Даже при двух полностью затопленных отсеках корабль останется на плаву, – восхищались газеты, в том числе и специализированный орган «Кораблестроитель». О том, что будет, если вода затопит хотя бы три отсека, как-то не говорилось.

Предчувствия и предсказания

Приятно нестись сквозь ночь по гладкой воде при хорошей погоде, – только легчайшая дрожь корпуса, потому что там, внизу, работают мощные турбины, – но к этому быстро привыкаешь. Да и вообще жить хорошо и приятно. Едем на новом, надежном корабле, воплотившем все достижения цивилизации. Войны нет, а скоро и вообще войн не будет. На корабле, например, едет знаменитый журналист Уильям Стэд – едет на конференцию в Америку, чтобы сделать доклад о прекращении войн во всем мире навсегда. Первый класс доволен жизнью, потому что богат, второй и третий – исполнены надежд на новую жизнь в Новом Свете. Многие сначала зарезервировали места на другие судна, но из-за забастовки угольщиков пароходы не ходят – угля нет, и пассажиров, к их восторгу, перевели на «Титаник». А третий класс на «Титанике» роскошней, чем первый на других судах! Повезло! Всего на корабле едут 2207 человек, включая команду. Это на 1000 с лишним человек меньше, чем ожидалось, и пароходная компания этим, понятно, несколько огорчена. 55 человек в последний момент отменили резервацию на корабль. Причины самые разные: у кого жена растянула лодыжку, кто опоздал, один член команды нанялся на корабль и на радостях так напился в кабаке, что его обокрал завистливый собутыльник: вытащил у него документы и сам явился на судно под фальшивым именем. Проспавшись, обворованный матрос долго материл свое невезение, грозил кулаком горизонту и с горя пил еще месяц, прежде чем вернуться домой к маме.

Но немало было и тех, кто, подобно миссис Харт, был внезапно охвачен страхом и мистическими предчувствиями. Кто-то просто не доверял новой технике и необкатанному судну, но одна филадельфийская пара, например, предвкушавшая морское путешествие на роскошном новом лайнере, поменяла билеты после того, как жена внезапно почувствовала необъяснимый ужас и, к неудовольствию мужа, умолила его сесть на другой корабль. Мать фермера, собравшегося эмигрировать в Америку, три ночи подряд видела сон, что корабль тонет, и уговорила сына переждать. Другой человек добился долгожданной работы на «Титанике» и уже выехал в Саутгемптон (порт отправки), но, охваченный предчувствием, вернулся домой с полдороги. На корабле ехало несколько человек, чьи матери или друзья, тоже видевшие странные сны или просто испытавшие чувство необъяснимого страха, уговаривали их остаться, но они

не послушались суеверных советчиков. И наоборот: некая миссис Бакнелл «так и знала», что корабль утонет, и не хотела ехать, но ее уговорили друзья. Накануне столкновения, за ужином, она только и говорила, что о своем страхе. Предчувствия были и у тех, кто и не собирался плыть. Самый странный из документированных случаев – предсказание некой Бланш Маршалл, которая вместе с друзьями смотрела, как «Титаник» проплыл мимо острова Уайт вскоре после выхода из Саутгемптона. «Этот корабль утонет, не достигнув Америки», – сказала она, и когда ей напомнили, что он ведь непотопляемый, воскликнула: «Разве вы слепые, разве вы не видите сотни людей, барахтающихся в ледяной воде?» (Через три года г-жа Маршалл таким же необъяснимым образом точно предсказала гибель «Лузитании», пропоротой немецкой торпедой). Но мало того: рабочие-католики на верфи Белфаста, где строился «Титаник», увидели дурное предзнаменование в номере корабля: 3909 04, – если прочитать номер в зеркальном изображении (зачем бы это?), – то при некотором воображении можно прочесть слова: NO POPE, то есть «Без Папы» – непереносимая весть для добрых католиков. Но мало и этого: ни с того ни с сего газета «Белфаст Морнинг Ньюс» еще в июне 1911 года написала следующее: «Трудно понять, почему владельцы и строители корабля нарекли его “Титаником”. Ведь титаны были мифическими существами, возомнившими, что они достигли власти и знания больших, чем сам Зевс, и это их погубило. Зевс низвергнул сильных и дерзких титанов громовыми ударами; местом их последнего упокоения стала мрачная бездна, тьма, лежащая ниже глубочайших глубин Тартара». Но мало и этого: за четырнадцать лет до катастрофы, в 1898 году, некий Морган Робертсон написал плохой, копеечный фантастический роман, в котором корабль под названием «Титан», выйдя из Саутгемптона в Нью-Йорк с 2000 людей на борту, тонет в апрельскую ночь, столкнувшись с айсбергом, и все пассажиры гибнут из-за нехватки посадочных мест в спасательных шлюпках. Но и этого мало: тот самый Стэд, который едет на «Титанике» на мирную конференцию, сам написал роман еще в 1892 году; в этом романе тоже тонет корабль, столкнувшись с айсбергом в Атлантике. Пассажиров подбирает другое судно, капитана которого зовут Э. Дж. Смит, – точно так, как будут звать капитана «Титаника» через двадцать лет. (Стэд до Америки не доедет.) Кроме того, в Ливерпуле (порте приписки «Титаника») в девять часов вечера 15 апреля внезапно и по неизвестной причине упало напряжение и отключилось электричество во всем городе почти на час.

Может быть, нервные люди перед любым рейсом любого

судна видят стандартные сны о катастрофах, может быть, мисс Маршалл вообще имела привычку предрекать гибель всякому проходящему кораблю, может быть, столкновение с айсбергом – основная причина гибели атлантических судов (не морской же змей утягивает корабли на дно), – тем не менее фольклор, сложившийся вокруг «Титаника», с годами только окреп, и известный жанр «мистика загадочных тайн» буйно цветет на обломках трагедии века. Вот еще одно питательное блюдо для любителей потустороннего: в апреле 1935 года в том же районе Атлантики матрос Ривз с корабля «Титаниан» внезапно ощутил «необъяснимое чувство» и закричал: «Опасность впереди!» прежде, чем айсберг выплыл из мрака; «Титаниан» еле избежал столкновения; чуткий матрос Ривз был рожден на свет 15 апреля 1912 года, в роковую ночь.

Черный айсберг

Впередсмотрящие на вахте всматривались в звездный горизонт, корабль несся вперед со скоростью 21½ узлов, то есть около 40 км/час. Перед отплытием вахтенные прошли медосмотр, но зрение им не проверяли. И бинокля им не дали. После, во время расследования, шли разговоры о том, что «бинокль может улучшать зрение», да, собственно, один из вахтенных, как выяснилось, подавал рапорт с просьбой выдать этот несложный прибор, но просьбу проигнорировали. Ведь это не ложечка для горчицы и не полоскательница для рук – обойдется. Гляди в оба! Он и глядел. И внезапно осознав, что часть звезд на небосклоне словно бы исчезла, вытесненная куском мрака, – закричал и позвонил по телефону в рубку, и прозвучала команда «право руля» (при этом корабль, в отличие от современного автомобиля, поворачивал влево), и моторы были остановлены, но было уже поздно. «Титаник» на всем ходу процарапал правый борт о подводную часть айсберга. Ему не хватило 15 секунд.

Пассажиры почти ничего не ощутили, спавшие не проснулись. У игрока в бридж расплескалась рюмка с коктейлем, другие просто ощутили легчайшую дрожь. Кто-то услышал шорох, будто днище прошуршало «по тысяче камушков». Заметили скорее другое: наступившую тишину. Богатые пассажиры с интересом выглянули на широкую палубу первого класса. «Отчего стоим?» – «Ничего страшного: айсберг». Забавно. От столкновения куски льда осыпали палубу с правого борта. Кто помоложе, принялись кидаться снежками, как дома. Другие вернулись к напиткам и книжкам.

Капитан Смит, строитель «Титаника» Эндрюз и кочегар пошли посмотреть на пробоину. Конечно, водонепроницаемые электродвери уже были закрыты. (Это было роковой ошибкой, такой же, как поворот право руля.) Вода хлестала в пропоротую обшивку. «Это плохо?» – спросил капитан. – «Очень плохо». – «Насколько плохо?» Эндрюз, строивший корабль и знавший про него все, сказал: повреждено шесть отсеков. Корабль утонет. Времени осталось часа два. Надо без паники выгружать в шлюпки пассажиров – женщин и детей, конечно. Посадочных мест в шлюпках хватило бы только на треть пассажиров, и Эндрюз это знал.

Эвакуация сначала шла неспешно и галантно, почти без паники. Никто не понимал, что и зачем происходит, никому не было сказано, в чем дело, многие сопротивлялись посадке

в шлюпки: море холодное и неверное, а на корабле тепло и уютно, но раз так надо… Мать Эвы Харт, которая «так и знала», была готова. Она немедленно потащила мужа и дочь к лодкам, женщин пропустили, мужа, конечно, нет. «Слушайся маму!» – напутствовал дочку строитель – и больше его никто не видел. Приказ «только женщины и дети» по-разному был интерпретирован офицерами команды на левом и правом борту: в одном случае, когда женщин в поле зрения больше не было, сажали и мужчин, в другом понимали приказ буквально и мужчин вообще не допускали в шлюпки. Мужчинами (о, британская честь!) считались мальчики старше восьми лет. Один такой мальчик забрался в лодку, где сидела Эва, и офицер вышвырнул его назад, на борт, плачущего; среди спасенных мальчика не было. Садиться в лодки было страшно: толчками, переваливаясь то на нос, то на корму, они спускались с борта, как с высоты десятиэтажного дома, – одна переполненная сверх нормы, другая полупустая; а за ней уже шла другая, грозя раздавить своей тяжестью, а тут вдруг самые умные и самые негалантные из мужчин поняли, что происходит, и стали прыгать с высоты в шлюпки, а тут вдруг выяснилось, что перепуганный и плохо оповещенный третий класс рванул на палубы, – а ведь там дикие люди, итальянцы, эмигранты, по-нашему не понимают и вообще; паника нарастала, решетки, отгораживавшие третий класс от второго, были заперты, корабль стал крениться на нос и налево, третий класс завыл и застучал в решетки, кто-то бросился в обход, кто-то, прорвавшись к палубе, стал прыгать с борта в замерзающую воду, матери волокли детей, матросы отдирали матерей от детских рук, если дети были мальчиками, председатель компании «Уайт Стар» Исмэй с женой и секретаршей прыгнул в шлюпку и приказал грести – шлюпка отошла полупустая, из 65-ти мест заполнено было только 12. Некоторые жены не хотели оставить мужей – кого-то оторвали силком, на кого-то махнули рукой. Корабль наполовину ушел в воду, кренясь все сильнее. «Теперь каждый за себя!» – объявил капитан тому, кто мог это услышать. Огни горели до конца, матросы пускали сигнальные ракеты, радист Филипс отстукивал морзянку и стал первым человеком, пославшим сигнал SOS – новинку, недавно введенную и впервые опробованную на «Титанике». Какой-то безумец ворвался в радиорубку и стал срывать спасательный жилет с Филипса; Филипс и его помощник Брайд убили его. На борту офицер застрелил двух обезумевших пассажиров и немедленно застрелился сам. Все шлюпки теперь поспешно отгребали от корабля, боясь быть затянутыми в воронку. Оркестр «Титаника» – все мужчины, конечно, – играл

вальсы. Корма корабля поднялась вверх на необозримую высоту под углом в 45 градусов. Люди, вцепившиеся в поручни, стали отрываться и падать в воду. Тут наконец погасли огни, раздался страшный треск, и кормовая часть судна обломилась и рухнула в океан. Носовая, наполнившись наконец водой, нырнула на четырехкилометровую глубину, взрываясь котлами, ломая трубы, унося с собой бедняков, итальянцев, кочегаров, увлекая на дно шестьдесят запертых поваров, только что бережно подрумянивавших филе миньон и заливавших желейным сиропом персики для тех, кто теперь греб во тьму, подальше от страшных криков, от напрасных воплей о помощи. Через две минуты кормовая часть, набрав воды, нырнула вслед за носовой. Она была меньше, воздушного пузыря в ней не было, скорость ее была как у хорошей машины на шоссе: обе части «Титаника» достигли дна одновременно. Страшный удар о дно вогнал носовую часть в океанское дно на глубину 50 футов; она разломилась пополам еще раз. На бешеной скорости в нее врезалась корма, и – вместе с этим – увлекаемая кораблем за собой толща воды, которая ударилась об остановившиеся в разбеге обломки и окончательно сплющила палубы в слоеный пирог, скрутила башенные электрокраны веревочкой, придавила труп корабля и рассеялась в океане.

Наверху стоял страшный, долгий получасовой крик. Попадавшие в ледяную воду хватались в кромешной тьме за обломки и мусор, за стулья, за пробковые плоты, друг за друга. Люди в лодках держались на расстоянии. Жена председателя компании Исмэя причитала: «О, мой халатик, мой чудный халатик!» – халатик погиб с «Титаником». Кто-то из матросов на веслах предложил подъехать и попробовать спасти хоть кого-нибудь из тонущих, но супруги воспротивились: ведь тонущие имеют привычку хвататься за борта и могут перевернуть лодку. Позже, во время публичного расследования, Исмэи подтвердили, что крики слышны были еще полчаса (пока люди не замерзли насмерть в ледяной воде), но они были слишком расстроены, и им было о чем подумать, так что им как-то не пришло в голову поехать на крики, а никакого злого умысла тут, поверьте, не было. В других лодках были свои драмы: кто-то замерз прямо в лодке, стоя по колено в ледяной воде, и пришлось выбросить их трупы в море; матросы одной из шлюпок не умели грести (это был их первый рейс в жизни), и тогда светские дамы сели на весла и распорядились ситуацией с честью: отдали шубы раздетым, согрели младенцев, прикрикнули на перепуганных мужчин. К утру подошел корабль «Карпатия», принявший на борт оставшихся в живых. Из полутора тысяч оставленных на борту

спаслись сорок человек. Тот, кто не был заперт в корабле, кого не утянуло в воронку, окоченели в воде. Спаслись счастливчики: здоровые; сильные; спасся и член команды, осознавший, что происходит и бросившийся в недоступный прежде бар первого класса, чтобы на халяву выпить стакан виски. Из пассажиров первого класса погибло 6 процентов женщин и детей (в основном те, кто отказались сесть в лодки), из третьего – 58. Из двадцати пар новобрачных спаслась одна; девятнадцать молодых жен вернулись на берег вдовами. Радист Филипс погиб, погиб и капитан Смит, погиб весь оркестр. Девочка Эва спаслась, прожила долгую жизнь и умерла в 1996 году.

Расследование

Расследование не окончено до сих пор. Кое-что до сих пор неясно: так, всего в нескольких милях от гибнущего «Титаника» тонущие видели огни другого, «загадочного» корабля, который постоял-постоял да и скрылся; что это было – неизвестно. То ли это было браконьерское шведское судно, испугавшееся морской инспекции и быстро скрывшееся в ночи, то ли «Калифорнией», застрявший во льдах, чей капитан и команда вроде бы видели и ракеты, и странность накренившихся мачтовых огней, позевали-позевали, решили: «должен быть “Титаник”, больше некому» – и легли спать; не наше дело; то ли – для вечно суеверных – Летучий Голландец, что всегда проплывает мимо обреченных, предвещая гибель? Кое-что, конечно, прояснилось, например, то, что корпус роскошного и непотопляемого был сделан из низкокачественной стали с большим содержанием серы: такая сталь становится хрупкой при низких температурах. Ошибкой признаны и действия команды: если бы корабль ударился об айсберг носом, то затоплены были бы от силы два передних отсека, и корабль остался бы на плаву, но кто мог знать? И кто мог сообразить, что водонепроницаемые двери лучше было оставить открытыми, – тогда вода ровно распределилась бы по днищу, и корабль лег бы «на ровный киль», а не черпал носом воду, при том что вода, под напором, перехлестывала через невысокие переборки и переливалась из отсека в отсек. Выжившие члены команды жаловались на несчастливое стечение обстоятельств: ни рябинки на воде, ни ветерка; а ведь при малейшем дуновении очертания айсберга, говорили они, очерчены сияющей линией. И повернулся он к ним не белой стороной, а черной, а черное в черноте ночи не видать. Конечно, не надо было гнать с такой скоростью, нельзя было пренебрегать радиограммами (здесь преступная небрежность становится необъяснимой), надо было дать вахтенным бинокли, надо было провести тренировку плавсостава и пассажиров с утра 14 апреля, как было предусмотрено, чтобы каждый знал, что делать, если… Надо было иметь достаточно шлюпок. (Еще в 1909 году, когда корабль был только задуман, на обсуждение декора, по показаниям очевидца, было потрачено четыре часа, на обсуждение числа мест в шлюпках – 5–10 минут). Не надо было отпускать их в море полупустыми, не надо было запирать третий класс как скот, не давая людям ни шанса выжить… но это уже не техническая, а моральная проблема.

И если с тех пор на кораблях броня крепка, а посадочных

мест в шлюпках вволю, если радиосвязь не отвлекается на праздные пустяки, если береговая служба обязана своим рождением «Титанику», если все техническое становится все лучше и лучше, – можно ли извлечь какой-нибудь нравственный урок из гибели «Титаника»? Жена председателя оплакивала халатик под крики тонущих. Что же про это думать: богатая гадина, все они такие? А миллионерша Ида Страус отказалась сесть в лодку без своего мужа: всю жизнь жили вместе, вместе и погибнем; сжалившись над стариками, офицер предложил сесть в лодку и Исидору Страусу, обоим вместе, но старик отказался: не хочу привилегий; обнявшись, миллионеры пошли на дно. За оставшимися в каюте вещичками побежали богатый и бедный: оба не вернулись назад. Капитан Смит своими действиями погубил себя и других; последнее, что о нем вспоминают, – это то, что он подплыл к перегруженной лодке с младенцем в руках, передал младенца матросам, отказался забраться в шлюпку, махнул рукой и уплыл во тьму, и больше его не видели. Спасшиеся предъявили счет пароходной компании. Миссис Кардеза заполнила 14 страниц требований на сумму 177 тысяч долларов (помножьте на шесть с половиной, чтобы получить сегодняшние цены). Эдвина Траут – на 8 шиллингов 5 пенсов: вместе с кораблем и полутора тысячами живых душ утонула ее машинка для изготовления мармелада. Мистер Дэниел потребовал вернуть деньги за призового бульдога, а Элла Уайт – за четырех кур. И чье же горе горше? И какой из этого сделать вывод? Кто лучше: женщины или мужчины? Богатые или бедные? Пьяные или трезвые?

После «Титаника» была первая мировая война (ведь великий журналист Стэд так и не доехал на мирную конференцию), а потом европейская и русская история, а потом вторая мировая война, а потом (и во время) еще много чего было, и у них, и особенно у нас, и кто решится сказать, что вот сейчас, в эту минуту, не тонет очередной невидимый «Титаник» с плачущими мальчиками и мармеладными, дорогими чьему-то сердцу машинками? И никакой, ну никакой морали мне из этого не извлечь.

Медведь

У медведя этого когда-то были глаза из особой карей стекляшечки, и радужка была, и зрачок. Сам он был серым, жестким, жесткошерстным. Я его любила.

Потом прошла целая жизнь, и я купила себе собственную квартиру в Питере, и ходила по родительской квартире, забирая свои вещи и книжки и выпрашивая у мамы красивые коробочки и старинные тряпочки из чемоданов. Они совершенно никому не были нужны, ни маме, ни мне, но я люблю ненужные вещи. Весь прагматический, коммерческий, манипуляторский смысл из них уже улетучился, польза выветрилась и обнажилась душа предмета, его настоящая суть, то, что до поры было скрыто суетой и шумом идущих дней.

И роясь в чулане, среди каких-то рогож и старых лыжных палок, которые тоже никто не решался выбросить, в простенке между сундуком и стеной я нашарила медведя, вернее, то, что от него осталось: деревянный остов, оклеенный жесткой шерстью, одна-единственная верхняя лапа, пуговица вместо одного глаза, а вместо второго – просто висящие черные нитки.

Я схватила его, я прижала его к себе, стиснула пыльное шерстистое тельце, зажмурилась, чтобы не залить его внезапно хлынувшим потоком слез, и стояла там, в духоте, тесноте и полутьме, слыша только бешеный стук своего сердца. А может быть, медведева сердца, не знаю.

Это с чем сравнить? Это, наверно, так: вот у тебя дети, им уже сорок лет, и ты привыкаешь к этому и с этим живешь; а потом ты забираешься в чулан, и там, оказывается, вот он – твой ребенок, каким он был когда-то, – полуторагодовалый, еще не говорящий, пахнущий кашкой и яблочком, зарёванный, потерявшийся и найденный, все эти десятилетия ждавший тебя в простенке, за сундуком, не умея позвать, и вот дождавшийся.

Я забрала его на свою новую квартиру. Все там было оскорбительно новое, в смысле – чужое, купленное у антикваров и старьевщиков, принадлежавшее раньше другим людям и не привыкшее к моим стенам. Я, как могла, смягчала эти чужие комоды и буфеты мамиными коробками и тряпками. Медведя я положила на кровать, не знала, что с ним делать.

Ночью я спала, обняв его, и он слабо обнимал меня своей единственной лапой. Ночь была летняя, белая, не ночь, а тоска, кисея с мутными сумерками. От медведя пахло пылью, пылью, старостью, увечьем, десятилетиями, тысячелетиями. Открывая ночью глаза, в подводном свете белой полуночи я видела черные

нитки, висевшие из его бедной глазницы. Я гладила его деревянную голову, она была в шрамах. Трогала его уши.

Нет, думала я, так нельзя. Есть такой рассказ у Фолкнера, – «Роза для Эмили». Про женщину, которая отравила своего возлюбленного, чтобы он от нее не ушел, а потом заперлась с ним в своем доме и не выходила оттуда сорок лет и до смерти. А после ее смерти нашли комнату, где лежал в позе любви скелет в сгнившей ночной рубашке, а рядом, на примятой подушке – длинный седой волос.

Утром я уехала в Москву. А когда вернулась через месяц, медведя уже не было. Ни на кровати, ни под кроватью, ни в шкафах, ни на антресолях. Нигде. Вообще нигде.

ВДНХ

Странное место ВДНХ – не застывшее во времени, не выпавшее из него, а как-то зависшее, застрявшее между его пластами (если, конечно, пользоваться этой расхожей метафорой, предполагающей, что у времени есть какие-то «пласты», будто коржи у торта).

Широченные, прекрасно заасфальтированные тропинки, дорожки и дороги. Просто эх, как заасфальтированные. Много. Площадь их совершенно не соответствуют плотности населения на 1 кв. км пространства: один километр – один монгол. Обширные, прекрасно ухоженные цветники, один так вообще раскладкой цветов изображает Инь-Ян, непонятно с какого глузду, тем более, что это рядом с детской площадкой, тоже необыкновенно свеженькой, чистенькой и ухоженной; мягкий асфальт, все дела. Безжизненный уголок чудного парка, кстати; ни одного ребенка в радиусе трехсот метров, да и за пределами трехсот – ни одного; только вон там, вдали, бредет монгол с женой, осваивая свои два кв. км на семью.

Прекрасно функционирующие фонтаны, что «Дружба Более Не Существующих Народов», что «Каменный Цветок». Ничего не заржавело, воды бьют ровно, от них веет прохладой; монгол, держа жену за руку, сидит на прекрасной скамейке и блаженно слушает шорох вод. Скамейка, повторю, какая надо: функционально изогнутая под изгиб вашего позвоночника и попы, белая и чистая; торцы блестят правильной черной краской. При виде такой скамейки хочется стать пенсионером, сидеть в белой панамке или шляпе с дырочками, в мутных очках для чтения, с дужкой, примотанной синей изолентой, потому что винтик выпал, а где же новый возьмешь, куда все мастерские делись, вот раньше был Дом Быта, а сейчас не пойми что, и дерут втридорога; сидеть, говорю, удобно выставив больные ноги на дорожку; всем места хватит, могут у нас, если захотят.

Солнце светит и слепит, золотые девы не сразу понятной республиканской принадлежности вечно протягивают прохожим цветы и снопы. Павильоны, где некогда бурлила жизнь, темны и пусты. Нет ни выставки, ни достижений. Ни села, ни хозяйства.

Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто всё – простор везде, –
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.

Мы с М. обогнали медленно бредущего монгола – за руку с женой – и подошли к расположившемуся посреди просторной дорожки торговцу водой.

– Две воды, пожалуйста… Ой, а похолоднее нету?

– Так холодильник же не работает, – отвечал торговец.

– Только у вас? Или у всех?

– Не знаю. Я выключил.

– Зачем?!

– Так народ же жалуется: зачем, говорят, холодная такая.

Мы поставили свои теплые бутылки на прилавок и быстро-быстро отошли от странного торговца. Захотелось что-нибудь съесть – что-нибудь хорошее, из детства. Отошедший навсегда в прошлое бублик. Или даже вредный пончик с сахарной пудрой. В Ленинграде он назывался пышкой. На Большом проспекте Петроградской стороны была пышечная, и, возвращаясь из школы, мы останавливались и смотрели через витрину, как пышки плывут на конвейере, потом смахиваются металлической лопаткой в чан с кипящим маслом и выплывают с другой стороны уже румяными, пухлыми, такими, перед которыми ну невозможно устоять.

А сахарной пудрой их присыплет продавец уже в кульке. Он сыплет, а ты мысленно подсказываешь ему: больше, больше сыпь… И есть их надо сразу, по пути домой, на улице. Потому что когда принесешь домой, все это будет уже не то. Жар уйдет, и плохой, переваренный жир, плохой, дешевый вкус теста проступят через свалявшуюся пудру. А и все в жизни так. Когда жар уходит.

Но ни пышек, ни бубликов уже больше печь не умеют, есть только дэниши, бейгелы, маффины, плохо понятая пицца, или вот – предложили нам в тени деревьев, в одном ларьке корейскую булочку Пян Се.

Не хочу булочку Пян Се! Хочу прежнего, хочу былого, хочу духовые оркестры в ракушках летних эстрад и девушек в крепдешинах и босоножках с носочками! Хочу павильон «Кролиководство». «Молодняк крупного рогатого скота» страстно хочу. Мне надо, чтобы хрюкали поросята, чтобы веяло сливками из павильона «Мороженое». «Главхлеб» чтобы пёк и тут же и продавал и выставлял. Чтобы весь процесс замешивания, расстойки и выпекания, все кружение батонов по конвейеру, все всплывание бубличного теста в прозрачных чанах можно было видеть через стеклянную стенку, а на улице чтобы валил снег хлопьями, а я чтобы смотрела, открыв рот, такая в валенках с галошами, с лопаткой в руке, с варежками на резинке!

Мы с М. заглянули через щелочку в один пустующий

павильон, в другой. Тут мы заметили плакат, что идите сюда, тут выставка.

– Что за выставка? – спросили мы.

– Выставка сорняков! – с удовольствием отвечала веселая молодая охранница.

– О, это то, что нам надо!

Огромное фойе, огромный зал. В зале по углам лежало сено брикетами, а на стеклянных столах были расположены огромные, исполинского размера букеты высохшего до трухи и уже, видимо, не опасного борщевика. Дальше в ведрах стояла выращенная крапива. На отдельных прилавках были разложены агломераты голубиного помета, размером с футбольные мячи. Тут у нас начало зарождаться подозрение, что это не выставка, а художественный проект. Возможно даже с каким-то смутным общественно-политическим подтекстом и протестом. Типа вот вам, сатрапы! – вот вам ваше сраное сельское, ха-ха, хозяйство!

Но охранница ничего объяснить не сумела, а экскурсоводша отошла куда-то за булочками Пян Се. Изучив по просьбе охранницы аппарат, в котором черви ели банановые шкурки и в результате их жизнедеятельности снизу аппарата капала черная жижа, мы двинулись к выходу.

– А фильм! Фильм хотите посмотреть? – закричала она.

Почему не посмотреть фильм в Павильоне Сорняков в этот пустой, будний осенний день? Мы сели на неудобную, как это всегда бывает в таких местах, скамью без спинки. Тут веяло авангардом, тут о наших позвоночниках и попах никто не хотел заботиться. Проектор застрекотал.

Рассказываю. На экране неприятная молодая девушка долго, в режиме реального времени выбирает в магазине дорогую еду. Дыня, хамон, лосось, сыр рокфор. Потом она в режиме реального времени входит в свою квартиру, переодевается, закалывает волосы, раскладывает продукты. Ее уже хочется убить – не знаю, задумано ли это создателями фильма. Потом она, в режиме реального времени, моет то, что надо вымыть, режет то, что надо нарезать, раскладывает на блюде красивые закуски: заворачивает дыню в хамон и все такое. Варит креветки. Раскладывает их на другом блюде, креветки в середину, рукколу – венком вокруг. Потом – на третьем блюде – располагает мороженое эдакими наскребанными полосами, делает из него сугроб и присыпает его сверху вишней, что ли. А сама все это время лакает красное вино. Потом – всё в режиме реального времени – распускает волосы, красит глаза и рот, ну вот это всё; мы должны понимать, что сейчас придет на любовное свиданье мужик, и она будет его

кормить.

После чего она выносит все три блюда на улицу, ставит их к мусорным бакам и уходит. Из-под баков вылезают крысы и в режиме реального времени все это съедают. Мы с М. граждане стойкие, крыс не боимся, а вот современное искусство, если это было оно – а это, судя по всему, было оно – крепко не любим.

– Ну что, вы поняли что-нибудь? – радостно закричала охранница, когда мы вышли из темного зала, щурясь на свет.

– Нет.

– Вот и я не могу понять! Но что-нибудь, наверно, это значит! – охранница была девушка оптимистическая, жизнью еще не съеденная.

– Поверьте! – сказали мы. – Это не значит ничего! Не расстраивайтесь!

И пошли себе на воздух, и этот осенний, еще теплый, сладостный воздух, этот пустынный прозрачный пейзаж с далеким, бредущим куда-то монголом, эти заколоченные дворцы непонятного смысла и назначения – все это было как непрочитанный, инопланетный художественный жест.

notes

Сноски

1

Лилит – по преданию, первая жена Адама, оставшаяся в раю.

2

Статья для New York Review of Books, рецензия на перевод книги Молоховец на английский.